ТАЙНЫЕ МИРЫ



Английский мистический бестселлер на основе оккультных идей Е. Блаватской!

МАРИЯ КОРЕЛЛИ

СКОРБЬ САТАНЫ,

ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ ОДНОГО МИЛЛИОНЕРА ДЖЕФФРИ ТЕМПЕСТА

Тайные миры

Мария Корелли

Скорбь Сатаны, или Необыкновенное испытание одного миллионера Джеффри Темпеста

«Алисторус»
1895

УДК 82-312.2
ББК 86.4

Корелли М.

Скорбь Сатаны, или Необыкновенное испытание одного миллионера Джеффри Темпеста / М. Корелли — «Алисторус», 1895 — (Тайные миры)

ISBN 978-5-00269-286-6

Кто из нас не мечтает о богатстве? Но каждый ли готов за богатство продать душу дьяволу? – это вечная искусительная дилемма. Молодой писатель Джеффри Темпест, прозябающий в безвестности и нищете, встречает загадочного харизматичного принца Лусио Риманеза, который оказывается не кем иным, как Сатаной. Решившись на сделку, талантливый писатель продает Сатане душу и получает все, о чем только мечтал: деньги, роскошь, положение в обществе, неисчислимые удовольствия и любовь прекрасной девушки. Но вместе с желанными дарами Темпест постепенно утрачивает свой талант. Мистический декадентский роман «Скорбь Сатаны», ставший восьмым в творчестве английской писательницы, был обречен на успех. Сразу после выхода в конце 19 века книги Марии Корелли продавались бóльшими тиражами, чем все произведения Киплинга, Конан Дойля и Уэллса, вместе взятые.

УДК 82-312.2
ББК 86.4

ISBN 978-5-00269-286-6

© Корелли М., 1895
© Алисторус, 1895

Содержание

I 7
II 17
III 20
IV 26
V 35
VI 41
VII 50
VIII 58
IX 65
X 69
XI 75
Конец ознакомительного фрагмента. 76

Мария Корелли
Скорбь Сатаны, или Необыкновенное испытание одного миллионера Джеффри Темпеста

Посвящаю моим незабвенным Ч. И. К. и Ч. М. И.

ТАЙНЫЕ МИРЫ

Серия «Тайные миры»

В оформлении издания использованы графические работы преподавателя кафедры изобразительного искусства Смоленского государственного университета Ольги Петровны Мальчиковой

издательство РОДИНА

© Корелли М., 2026.
© Кохно Е.В., перевод., 2026.
© Ольга Мальчикова, графические рисунки, 2026.
© ООО «Издательство Родина», 2026.



Английская писательница Мария Корелли (итал. Maria Corelli, англ. Marie Corelli, собственно Мэри Маккей (англ. Mary Mackay); 1 мая 1855 – 21 апреля 1924).

I

Знаете ли вы, что значит быть бедным? Быть бедным не той бедностью, на которую некоторые люди жалуются, имея пять или шесть тысяч в год и уверяя, что едва-едва сводят концы с концами, но по-настоящему бедным – ужасно, отвратительно бедным? Бедность, которая так гнусна, унизительна и тягостна, – бедность, которая заставляет вас носить одно и то же платье до полной его ветхости; которая отказывает вам в чистом белье из-за разорительных расходов на прачку; которая лишает вас самоуважения и побуждает вас в замешательстве скрываться на задних улицах вместо того, чтобы свободно и независимо гулять между людьми. Вот такую бедность я разумею. Это гнетущее проклятие, которое подавляет благородные стремления. Это нравственный рак, который гложет сердце благонамеренного человеческого существа и делает его завистливым, злым и даже способным к употреблению динамита. Когда он видит разжиревшую праздную женщину из общества, проезжающую в роскошной коляске, лениво развалясь на подушках, с лицом, раскрасневшимся от пресыщения; когда он замечает безмозглого и чувственного модника, курящего и зевающего от безделья в парке, как если б весь свет с миллионами честных тружеников был создан исключительно для развлечения так называемых «высших классов» – тогда его кровь превращается в желчь, и страдающая душа возмущается и вопиет:

– Зачем такая несправедливость во имя Божие? Зачем недостойный ротозей имеет полные карманы золота, доставшиеся случайно или по наследству, когда я, работая без устали с утра до ночи, едва в состоянии иметь обед?



Джеффри Темпест

Зачем, в самом деле? Отчего бы сорной траве ни цвести, как зеленому лавру? Я часто об этом думал. Тем не менее, теперь мне кажется, что я могу разрешить задачу на своем личном опыте. Но… на каком опыте! Кто поверит этому? Кто поверит, что нечто такое странное и страшное выпало на долю смертного? Никто. Между тем, это правда, – более правдивая, чем многое, называемое правдой. Впрочем, я знаю, что многие люди живут в таких же условиях,

под точно таким же давлением, сознавая, может быть, временами, что они опутаны пороком, но они слишком слабы волей, чтобы разорвать сети, в которые добровольно попали. Я даже сомневаюсь: примут ли они во внимание данный мне урок? В той же суровой школе, тем же грозным учителем? Познают ли они тот обширный, индивидуальный, деятельный разум, который, не переставая, хотя и безгласно, работает? Познают ли они Вечного действительного Бога, как я принужден был это сделать всеми фибрами моего умозрения? Если так, то темные задачи станут для них ясными, и то, что кажется несправедливостью на свете, окажется справедливым!

Но я не пишу с какой-либо надеждой убедить или просветить моих собратьев. Я слишком хорошо знаю их упрямство; я могу судить по своему собственному. Было время, когда мою гордую веру в самого себя не могла поколебать какая-нибудь человеческая единица на земном шаре. И я вижу, что и другие находятся в подобном положении. Я просто намерен рассказать различные случаи из моей жизни – по порядку, как они происходили, – предоставляя более самонадеянным умам задавать и разрешать загадки человеческого существования.

Во время одной жестокой зимы, памятной ее полярной суровостью, когда громадная холодная волна распространила свою леденящую силу не только на счастливые Британские острова, на и на всю Европу, я, Джеффри Темпест, был один в Лондоне, почни умирая с голоду. Теперь голодающий человек редко возбуждает симпатию, какую он заслуживает, так как немногие поверят ему. Состоятельные люди, только что поевшие до пресыщения, – самые недоверчивые; многие из них даже улыбаются, когда им расскажут про голодных бедняков, точно это была выдуманная шутка для послеобеденного развлечения. Или с раздражающе важным вниманием, характеризующим аристократов, которые, задав вопрос, не ждут ответа или не понимают его, хорошо пообедавшие, услышав о каком-нибудь несчастном, умирающем от голода, рассеянно пробормочут: «Как ужасно!» – и сейчас же возвратятся к обсуждению последней новости, чтоб убить время, прежде чем оно убьет их настоящей скукой. «Быть голодным» звучит грубо и вульгарно для высшего общества, которое всегда ест больше, чем следует.

В тот период, о котором я говорю, я, сделавшийся с тех пор одним из людей, наиболее вызывающих зависть, – я узнал жестокое значение слова «голод» слишком хорошо: грызущая боль, болезненная слабость, мертвенное оцепенение, ненасытность животного, молящего о пище, – все эти ощущения достаточно страшны для тех, кто, по несчастию, день ото дня подготовлялся к ним, но, может быть, они много больнее для того, кто получил нежное воспитание и считал себя «джентельменом». И я чувствовал, что не заслуживаю страданий нищеты, в которой я очутился. Я усидчиво работал. После смерти моего отца, когда я открыл, что каждое пенни из его воображаемого состояния принадлежало кредиторам, и что из нашего дома и имения мне ничего не осталось, кроме драгоценной миниатюры моей матери, потерявшей жизнь, произведя меня на свет, – с того времени, говорю я мне пришлось трудиться с раннего утра до поздней ночи. Мое университетское образование я применил к литературе, к которой, как мне казалось, я имел призвание. Я искал себе занятий почти в каждой лондонской газете. Во многих редакциях мне отказали, в некоторых брали на испытание, но нигде не обещали постоянной работы.

Кто бы ни искал заработка одной головой и пером, в начале этой карьеры с ним будут обращаться как с парией общества. Никому он не нужен, все презирают его. Его стремления осмеяны, его рукописи возвращаются ему непрочитанными, и о нем меньше заботятся, чем об осужденном убийце в тюрьме. Убийца по крайней мере одет и накормлен, почтенный священник навещает его, а его тюремщик иногда не прочь даже сыграть с ним в карты. Но человек, одаренный оригинальными мыслями и способный выражать их, считается худшим из преступников, и его, если б могли, затолкали бы до смерти.

Я переносил в угрюмом молчании и пытки, и удары, и продолжал жить – не из любви к жизни, но единственно потому, что презирал трусость самоуничтожения. Я был еще слишком молод, чтоб легко расстаться с надеждой. У меня была смутная идея, что и мой черед настанет,

что вечно вращающееся колесо фортуны в один прекрасный день поднимет меня, как теперь понижает, оставляя мне лишь возможность для продолжения существования, – это было прозябание и больше ничего. Наконец я получил работу в одном хорошо известном литературном издании. Тридцать романов в неделю присылались мне для критики. Я приобрел привычку рассеянно пробегать восемь или десять из них и писал столбец громовых ругательств, интересуясь только этими, так случайно выбранными; остальные же оставались без внимания. Такой образ действий оказался удачным, и я поступал так некоторое время, чтобы понравиться моему редактору, который платил мне щедрый гонорар в пятнадцать шиллингов за мой еженедельный труд.

Но однажды, вняв голосу совести, я изменил тактику и горячо похвалил работу, которая была и оригинальна, и прекрасна. Автор ее оказался врагом журнала, где я работал. Результатом моей хвалебной рецензии произведения ненавистного субъекта было то, что личная злоба издателя взяла верх над добросовестностью, и я лишился заработка. После этого мне пришлось влачить бедственную жизнь наемного писателя, живя обещаниями, которые никогда не выполняются, пока, как я сказал, в начале января, в разгар лютой зимы, я не очутился буквально без гроша, лицом к лицу с голодной смертью, задолжав месячную плату за свою убогую квартирку, которую я занимал на одной из глухих улиц, недалеко от Британского музея.

Целый день я бродил из одной газетной редакции в другую, ища работу и не находя ее. Все места были заняты. Так же безуспешно пробовал я представить свою рукопись, но «лекторы» в редакциях нашли ее особенно бездарной. Большинство из этих «лекторов», как я узнал, были сами романисты, которые в свободное время прочитывали чужие произведения и произносили свой приговор. Я никогда не мог найти справедливости в такой системе. Мне кажется, что это – просто-напросто покровительство посредственности и подавление оригинальности. Романист «лектор», который добивается места в литературе для самого себя, естественно, скорее одобрит заурядную работу, чем ту, которая могла бы оказаться выше его собственной. Хороша или дурна эта система, но для меня и для моего литературного детища она была вредна.

Последний редактор, к которому я обратился, по-видимому, был добрый человек; он смотрел на мое потертое платье и изнуренное лицо с некоторым состраданием.

– Мне очень жаль, – сказал он, – но мои «лекторы» единогласно отвергли вашу работу. Мне кажется, вы слишком серьезны и резко ратуете против общества. Это непрактично. Не следует никогда осуждать общество: оно покупает книги. Вот если можете, напишите остроумную любовную историйку, слегка рискованную: этого рода произведения имеют наибольший успех в наше время.

– Извините меня, – возразил я нерешительно. – Но уверены ли вы, что судите правильно о вкусах публики?

– Конечно, я уверен, – ответил он. – Моя обязанность – знать вкус публики так же основательно, как свой собственный карман. Поймите меня, я не советую, чтобы вы писали книгу положительно непристойного содержания – это можно смело оставить для «Новой женщины». – Он засмеялся. – Уверяю вас, что классические произведения не имеют сбыта. Начать с того, что критики не любят их. То, что доступно им и публике – это отрывок сенсационного реализма, рассказанный в элегантной английской газете. В Литературной или в газете Эддисона это будет ошибкой.

– Я думаю, что и я сам – тоже ошибка, – сказал я с натянутой улыбкой. – Во всяком случае, если то, что вы говорите, – правда, я должен бросить перо и испробовать другое занятие. Я устарел, считая литературу выше всех профессий, и я скорее бы предпочел не связывать ее с теми, кто добровольно унижает ее.

Он бросил на меня искоса быстрый взгляд – полунедоверчивый, полупрезрительный.

– Хорошо, хорошо! – наконец заметил он. – Вы немного экстравагантны. Это пройдет. Не хотите ли пойти со мной в клуб и вместе пообедать?

Я отказался от этого приглашения. Я сознавал свое несчастное положение, и гордость – ложная гордость, если хотите, – поднялась во мне. Я поспешил проститься и поплелся домой со своей отвергнутой рукописью. Придя домой, я встретил на лестнице мою квартирную хозяйку, которая спросила, «не буду ли я так добр свести с ней завтра счета». Она говорила довольно вежливо, бедная душа, и не без некоторой нерешительности. Ее очевидное сострадание укололо мое самолюбие так же, как предложенный редактором обед ранил мою гордость, и с совершенно уверенным видом я сейчас же обещал ей уплатить деньги в срок, ею самою назначенный, хотя у меня не было ни малейшего представления, где и как я достану требуемую сумму.

Войдя в свою комнату, я швырнул бесполезную рукопись на пол, бросился на стул… и выругался. Это облегчило меня, и понятно, так как, хотя я и ослабел временно от недостатка пищи, но не настолько, чтоб проливать слезы, и сильное грозное ругательство было для меня такого же рода лекарством, каким, я думаю, бывают слезы для взволнованной женщины. Как я не мог плакать, так я не был способен обратиться к Богу в моем отчаянии. Говоря откровенно, я тогда не верил в Бога. Я был самонадеянным смертным, презирающим изношенные временем суеверия.

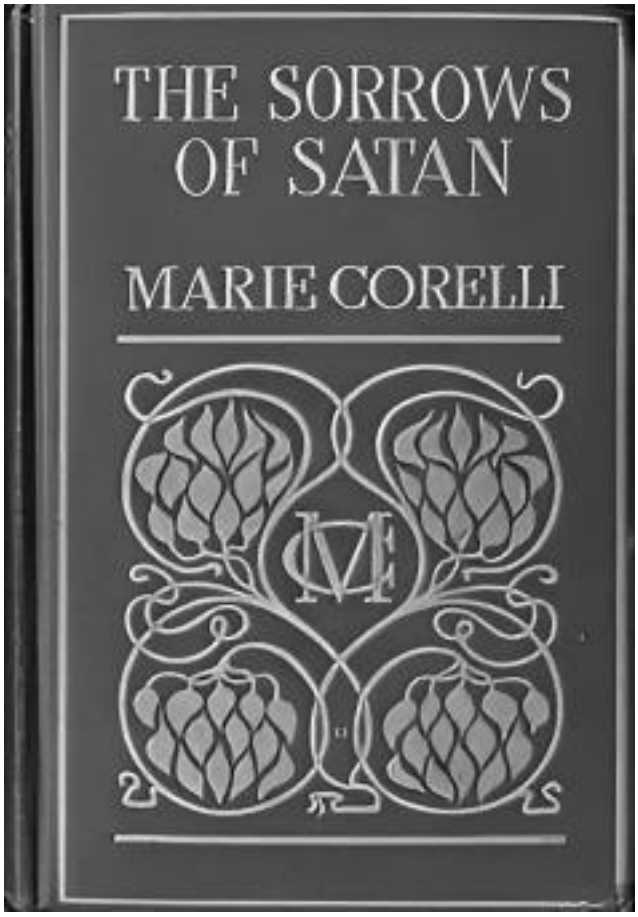
Конечно, я был воспитан в христианской вере, но эта вера сделалась для меня более чем бесполезной. Умственно – я находился в хаосе. Морально – мне мешали идеи и стремления. Мое положение было безнадежно, и я сам был безнадежен.

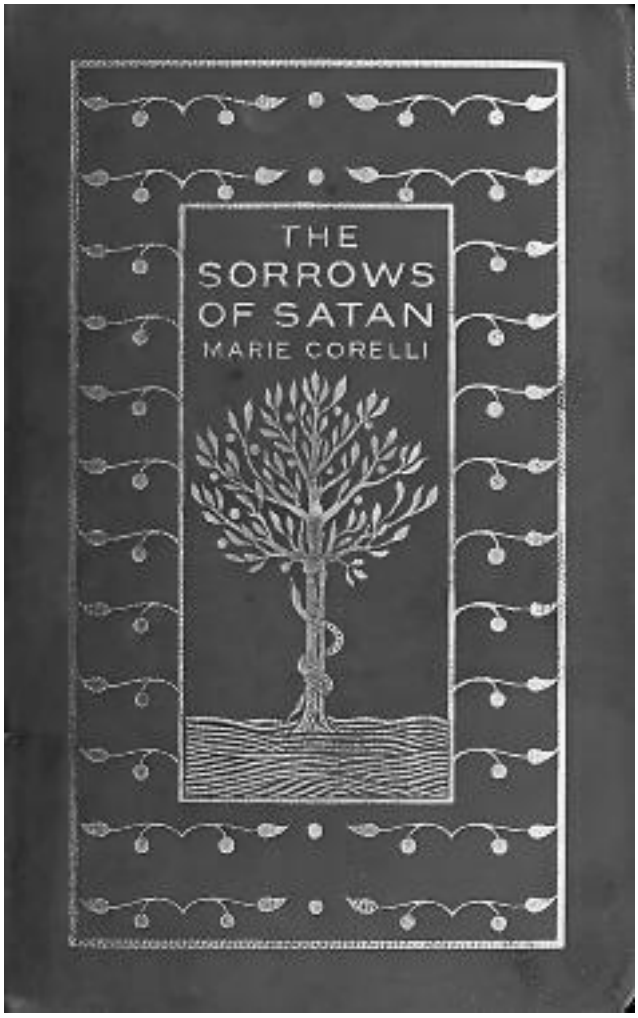
А между тем я чувствовал, что сделал все, что мог. Я был прижат в угол моими собратьями, которые оспаривали мое место в жизни. Но я боролся против этого: я работал честно и терпеливо; и все напрасно.

Я слыхал о мошенниках, которые получали большие деньги; о плутах, которые наживали огромные состояния. Их благоденствие доказывает, что честность в конце концов не есть лучшая система.

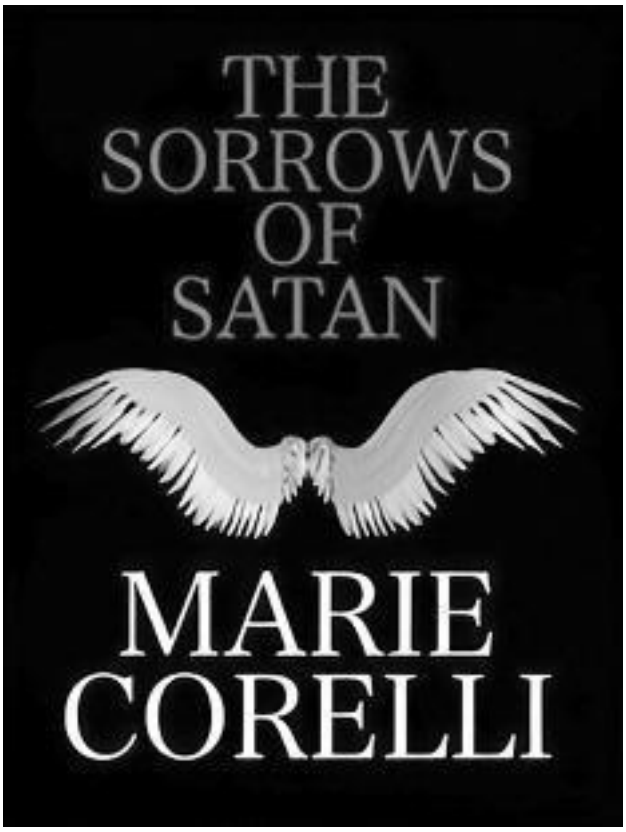
Что же было делать? Как начать иезуитскую деятельность, чтобы, сделав зло, получить добро? Так я думал – если эти безумные фантазии заслуживали названия дум. Ночь была особенно холодная. Мои руки онемели, и я старался согреть их у масляной лампы, которою моя квартирная хозяйка, по доброте своей, позволяла мне пользоваться, несмотря на отсроченный платеж.

Сделав это, я заметил три письма на столе: одно в длинном синем конверте, заключающее или вызов в суд, или возвращенную рукопись, другое – с маркой из Мельбурна, а третье – толстый квадратный пакет с золоченой коронкой. Я смотрел на все три равнодушно и, выбрав то, что было из Австралии, вертел в руках одну секунду прежде, чем распечатать его.


THE SORROWS
OF SATAN
MARIE CORELLI


THE
SORROWS
OF SATAN
MARIE CORELLI


THE
SORROWS OF SATAN
Marie Corelli


THE
SORROWS
OF
SATAN
MARIE
CORELLI

Обложки книг Марии Корелли «Скорбь Сатаны», вышедших в разные годы

Я знал, от кого оно, и не ждал приятных известий. Несколько месяцев тому я написал подробный рассказ о моих увеличивающихся долгах и затруднениях одному старому школьному товарищу, который, найдя Англию слишком тесной для своего честолюбия, уехал в более широкий Новый Свет для разработки золотых приисков. Как мне было известно, он преуспел в своем предприятии и достиг солидного независимого положения. Поэтому я рискнул обратиться к нему с просьбой одолжить мне пятьдесят фунтов стерлингов. Здесь, без сомнения, был его ответ, и я колебался прежде, чем вскрыть конверт.

– Конечно, будет отказ, – сказал я почти громко.

Как ни был расположен приятель при других обстоятельствах, но при просьбе одолжить денег он непременно окажется черствым. Он выразит свои сожаления, обвинит профессию и вообще плохие времена и обнадежит, что все скоро перемелется. Мне это было хорошо известно. В конце концов, почему я должен думать, что он не такой, как все? Я не имею на него иных прав, кроме воспоминаний о нескольких сентиментальных днях в Оксфорде.

Против воли у меня вырвался вздох, и на секунду глаза заволоклись туманом. Опять я видел серые башни мирной Магдалины, чудесные зеленые деревья, покрывавшие тенью дорожки внутри и кругом старого дорогого университетского города, где мы – я и человек, чье письмо я сейчас держал в руке, – вместе бродили, счастливые юноши, воображая себя молодыми гениями, родившимися, чтобы преобразовать мир. Мы оба любили классиков – мы были полны Гомером и мыслями и принципами всех бессмертных греков и римлян. И я верю, что в те далекие мечтательные дни мы думали, что в нас было то вещество, из которого создаются герои. Но вступление на общественную арену скоро разрушило наши высокие фантазии; мы оказались обыкновенными рабочими единицами, не более; проза ежедневной жизни отстранила Гомера на задний план, и мы вскоре открыли, что общество интересовалось более последним скандалом, чем трагедиями Софокла или мудростью Платона. Без сомнения, было крайне глупо мечтать, что мы могли преобразовать свет, тем не менее самый закоренелый циник вряд ли станет отрицать, что отрадно оглянуться назад, на дни юности, когда, быть может, только один раз в жизни он имел благородные стремления. Лампа горела скверно, и мне пришлось заправить ее прежде, чем приступить к чтению письма моего друга.

В следующей комнате кто-то играл на скрипке, и играл хорошо. Нежные звуки лились из-под смычка, и я слушал, безотчетно радуясь. Ослабев от голода, я впал в какое-то состояние, доходившее до оцепенения, и проникающая мелодия, вызывая во мне эстетичные и сладостные чувства, укротила на мгновение ненасытное животное, требующее пищи.

– Играй, играй! – пробормотал я, обращаясь к невидимому музыканту. – Ты упражняешься на своей скрипке, без сомнения, для заработка, поддерживающего твое существование. Возможно, что ты какой-нибудь бедняга в дешевом оркестре, или, может быть, даже уличный музыкант, принужденный жить по соседству с «джентельменом», умирающим от голода; у тебя не может быть надежды когда-нибудь войти в моду и играть при дворе; если же ты надеешься на это, то это безумно! Играй, дружище, играй! Звуки, что ты извлекаешь, очень приятны и заставляют думать, что ты счастлив, хотя я сомневаюсь в этом. Или и у тебя пошло все прахом?

Музыка стихала и становилась жалобнее; ей теперь аккомпанировал шум града по оконным стеклам. Ветер со свистом врывался в дверь и взвывал в камине – ветер, холодный, как дыхание смерти, и пронизывающий, как игла. Я дрожал и, нагнувшись к коптящей лампе, приготовился читать.

Едва я разорвал конверт, как оттуда выпал на стол чек на 50 фунтов, которые я мог получить в хорошо известном Лондонском банке. Мое сердце дрогнуло от облегчения и благодарности.

– Я был несправедлив к тебе, старый товарищ! – воскликнул я. – У тебя есть сердце!

И, глубоко тронутый великодушием друга, я внимательно прочел его письмо. Оно было не очень длинно и, очевидно, написано второпях.

«Дорогой Джефф!

Мне больно слышать, что ты находишься в затруднительных обстоятельствах; это показывает, что глупые головы еще процветают в Лондоне, если человек с твоими дарованиями не может занять принадлежащего ему места на литературном поприще. Я думаю, что тут весь вопрос в интригах, и только деньги могут их остановить. Здесь 50 фунтов, которые ты просил: не спеши возвращать их. Я хочу тебе помочь в этом году, посылая тебе друга – настоящего друга, заметь! Но передаст тебе рекомендательное письмо от меня, и между нами, старина, ты ничего лучшего не сделаешь, как если доверишь ему всецело твои литературные дела. Он знает всех и знаком со всеми ухищрениями редакторских приемов и газетных клик. Кроме того, он большой филантроп и имеет особенную склонность к общению с духовенством.

Странный вкус, ты скажешь, но он мне совершенно откровенно объяснил причину такого предпочтения. Он так чудовищно богат, что буквально не знает, куда девать деньги, а достопочтенные джентельмены церкви всегда охотно указывают ему способы растрачивать их. Он всегда рад узнать о таких кварталах, где его деньги и влияние (он очень влиятелен) могут быть полезны для других. Он помог мне выпутаться из очень серьезного затруднения, и я у него в большом долгу. Я ему все рассказал о тебе и о твоих талантах, и он обещал поднять тебя. Он может сделать все, что захочет; весьма естественно, так как на свете и нравственность, и цивилизация, и все остальное подчиняются могуществу денег, а его касса, кажется, беспредельна. Воспользуйся им, – он сам этого желает, и напиши мне, что и как. Не хлопочи относительно 50 фунтов, пока не почувствуешь, что гроза тебя миновала.

Твой всегда,

Босслз».

Я засмеялся, прочитав нелепую подпись, хотя мои глаза были затуманены чем-то вроде слез. «Босслз» было прозвище, данное моему другу некоторыми из наших школьных товарищей, и ни он, ни я не знали, как оно впервые возникло. Но никто, кроме профессоров, не обращался к нему по имени, которое было Джон Кэррингтон; он был просто Босслз, и Босслзом он остался даже теперь для своих задушевных друзей. Я сложил и спрятал его письмо вместе с чеком и, размышляя, что за человек мог быть этот «филантроп», который не знает, что делать с деньгами, принялся за два других пакета. Я чувствовал с облегчением, что теперь, что бы ни случилось, я могу завтра оплатить счет квартирной хозяйке, как обещал. Кроме того, я мог заказать ужин и зажечь огонь, чтобы придать более веселый вид моей холодной и неуютной комнате.

Но прежде, чем воспользоваться этими благами жизни, я вскрыл длинный синий конверт, который выглядел, как угроза судебного протокола, и, развернув бумагу, смотрел на нее в изумлении. Что это значит? Буквы прыгали перед моими глазами; в недоумении и замешательстве я перечитывал ее снова и снова, ничего не понимая. Но вскоре мелькнувшая мысль осенила меня, переполошив мои чувства, как электрический удар… Нет! Нет! Фортуна не могла быть так безумна! Так странно капризна! Это была какая-нибудь бессмысленная мистификация… А между тем… если это была шутка, то шутка изумительная! Имеющая также вес закона! Клянусь, новость казалась положительно достоверной!

II

Приведя, не без усилия, в некоторый порядок свои мысли, я перечел внимательно каждое слово документа, и мое изумление возросло. Сходил ли я с ума, или начинал страдать лихорадкой? Могло ли это поразительное, ошеломляющее известие быть настоящей правдой? Потому что если, в самом деле, это была правда… Бог мой! При этой мысли у меня кружилась голова, и только истинная сила воли удерживала меня от обморока, так сильно я был взволнован неожиданным сюрпризом и восторгом.

Если это была правда, ведь тогда свет был бы мой! Я был бы королем вместо того, чтобы быть нищим; я был бы всем, чем только захотел бы быть! Письмо, это изумительное письмо, было помечено именем известной фирмы лондонских присяжных поверенных и объявляло в размеренных и точных выражениях, что дальний родственник моего отца, о котором я смутно слыхал лишь время от времени в детстве, скоропостижно скончался в Южной Америке, оставив меня своим единственным наследником.

«Движимое и недвижимое имущество превышает теперь пять миллионов фунтов стерлингов. Вы нас обяжете, если найдете удобным посетить нас на этой неделе, чтобы вместе совершить необходимые формальности. Большая часть капитала находится в Английском банке, и значительная сумма помещена под гарантии французского правительства. Мы бы предпочли дать дальнейшие подробности вам лично, а не письменно. В уверенности, что вы посетите нас безотлагательно, мы остаемся, сэр, вашими покорными слугами…»

Пять миллионов! Я, умирающий с голоду наемный писатель без друзей и без надежд, завсегдатай низких газетных притонов, я – владелец «более пяти миллионов фунтов стерлингов»! Я хотел верить в поразительный факт, так как факт, очевидно, был, – но не мог. Он казался мне дикой иллюзией, плодом помутившегося от голода рассудка. Я оглядел комнату: убогая мебель, холодный камин, грязная лампа, низкая выдвижная кровать – все говорило о бедности и нужде, и подавляющий контраст между окружающей меня нищетой и только что полученной новостью поразил меня, как самая дикая и странная несообразность, которую я когда-либо слышал или воображал, – и я разразился хохотом.

– Был ли когда подобный каприз безрассудной фортуны? – крикнул я громко. – Кто бы вообразил это! Бог мой! Я, я! Из всех людей на свете выбран для этого счастия! Клянусь небом, если это правда, то общество под моей рукой завертится, как волчок, прежде, чем пройдут месяцы.

И я опять громко смеялся; смеялся так же, как раньше бранился – просто чтобы облегчить свои чувства. Кто-то засмеялся в ответ смехом, казавшимся смехом лешего. Я внезапно остановился, чего-то страшась, и прислушался. Дождь лил, и ветер бушевал, как сердитая сварливая женщина; скрипач в соседней комнате выводил блестящие рулады на своем инструменте, но, кроме этого, не было слышно других звуков. Между тем я мог бы поклясться, что слышал человеческий смех позади себя, когда я стоял.

– Это, должно быть, мое воображение, – пробормотал я, прибавляя огонь в лампе, чтобы больше осветить комнату. – Без сомнения, у меня расстроены нервы! Бедный Босслз! Добрый старина! – продолжал я, вспомнив чек на 50 фунтов, который казался мне манной небесной несколько минут тому назад.

– Какой сюрприз в запасе для тебя! Ты получишь обратно свою ссуду так же скоро, как прислал ее, с прибавкой других 50 фунтов, как процент за твое великодушие. Что же касается до нового мецената, которого ты посылаешь, чтобы помочь мне в затруднениях, он, наверное, окажется прекрасным старым джентельменом, но на этот раз не попадет в свою стихию. Я не нуждаюсь ни в помощи, ни в совете, ни в покровительстве! Я могу купить все это! Имя, почет и власть – все продажно в наш удивительно коммерческий век и поднимается до самой

высокой цены! Клянусь душой! Богатому «филантропу» будет нелегко состязаться со мной в могуществе! Я ручаюсь, что вряд ли он имеет больше пяти миллионов! А теперь ужинать; я буду жить в кредит, пока не получу сколько-нибудь наличных, и нет причины, почему бы мне сейчас не покинуть эту нищенскую конуру и не отправиться в один из лучших отелей.

Я уже хотел оставить комнату под влиянием возбуждения и радости, как новый порыв ветра заревел в комнате, принеся с собой целый столб сажи, которая упала черной кучей на мою отвергнутую рукопись, забытую на полу, куда в отчаянии я ее тогда бросил. Я быстро поднял ее и очистил от грязи, размышляя о том, какая судьба постигнет ее теперь – теперь, когда я сам мог ее издать, не только издать, но рекламировать и сделать ее предметом внимания. Я улыбался при мысли, как я отомщу тем, кто отнесся с пренебрежением и презрением ко мне и к моему труду, – как они будут приседать передо мной! Как они будут вилять хвостами у моих ног, как побитые дворняжки. Самая упорная и непреклонная шея согнется передо мной! В этом я был уверен, так как, хотя деньги не всегда покоряют все, они не преуспевают лишь в том случае, когда при деньгах отсутствует ум. Ум и деньги вместе могут двигать миром.

Полный честолюбивых мыслей, я время от времени улавливал дикие звуки скрипки, на которой играли рядом, – звуки то рыдали, как плач скорби, то вдруг звенели, как беспечный смех женщины, – и внезапно я вспомнил, что еще не распечатал третье письмо, адресованное мне, с золоченой короной, которое оставалось на столе до сих пор почти не замеченное.

Я неохотно взял его, и мои пальцы медленно работали, отделяя толстый конверт. Развернув толстый небольшой лист бумаги, также с короной, я прочел следующие строки, написанные удивительно четким, мелким и красивым почерком:

«Дорогой сэр!

Я имею к вам рекомендательное письмо от вашего бывшего школьного товарища мистера Джона Кэррингтона, который был так добр, доставив мне случай познакомиться с тем, кого я считаю необыкновенно одаренным всеми талантами литературного гения. Я буду у вас сегодня вечером, между 8 и 9 часами, надеюсь застать вас дома и незанятым. Прилагаю мою карточку и настоящий адрес и остаюсь преданный вам

Лючио Риманец»

Упомянутая карточка упала на стол, когда я оканчивал читать письмо; на ней стояла маленькая изящно выгравированная корона и слова:

«Князь Лючио Риманец».

А внизу карандашом был нацарапан адрес: «Гранд-отель».

Я перечел краткое письмо еще раз; оно было достаточно просто, написано ясно и вежливо. Ничего не было замечательного, решительно ничего; между тем оно казалось мне многозначительным. Я не мог дать себе отчет, почему.

Странное очарование приковывало мои глаза к характерному смелому почерку и заставляло думать, что я полюблю человека, написавшего так. Как ветер завывал! И как стонала рядом эта скрипка, точно беспокойный дух какого-нибудь молящегося забытого музыканта! Моя голова кружилась, и мое сердце ныло. Стук дождевых капель звучал, точно крадущиеся шаги тайного шпиона, следящего за моими движениями.

Я сделался раздражителен и нервен – предчувствие какого-то зла омрачило светлое сознание неожиданного счастия. Тогда мною овладел стыд – стыд, что этот иностранный князь, если он был таковым, со своим колоссальным богатством, посетит меня, теперь миллионера, в этом нищенском жилище. Прежде, чем коснуться своих богатств, я уже заразился пошлостью,

стараясь претендовать, что я никогда не был действительно беден, но только временно находился в затруднительном положении!

Если бы я имел шесть пенсов, которых у меня не было, я бы послал телеграмму, чтоб отсрочить предстоящий визит.

– Но, во всяком случае, – сказал я громко, обращаясь к пустой комнате и отголоскам грозы, – я не хочу встретиться с ним сегодня. Я уйду из дому и не оставлю записки, и если он придет, то подумает, что я еще не получил его письмо. Я могу условиться для свидания с ним, когда у меня будет лучшая квартира и более подходящий костюм для моего теперешнего положения. Тем временем ничего нет легче, как скрыться от этого так называемого благодетеля.

Пока я говорил, мерцающая лампа со зловещим треском погасла, оставив меня в абсолютной темноте.

Выругавшись от досады, я принялся ощупью разыскивать спички или, не найдя их, шляпу и пальто. Я еще был занят бесполезными и скучными поисками, когда до меня долетел звук быстро несущихся конских копыт, остановившихся внезапно внизу, на улице. Окруженный непроглядным мраком, я стоял и прислушивался. Там, внизу, происходило легкое смятение; я слышал нервную от избытка учтивости интонацию моей квартирной хозяйки, смешанную со звучными нотами сильного мужского голоса, и твердые шаги поднимались по лестнице к моей комнате.

– Тут сам черт вмешался! – проговорил я сквозь зубы. – Так же, как мое капризное счастье! Сюда идет тот самый человек, которого я хотел избежать.

III

Дверь отворилась, и из окутывавшей меня темноты я мог заметить высокую фигуру, стоящую на пороге. Я хорошо помню то странное впечатление, которое на меня произвело само очертание этого, едва различимого, образа. С первого же взгляда такая величественность в росте и манерах приковала тотчас все мое внимание, так что я едва слышал слова квартирной хозяйки:

– Господин желает вас видеть, сэр!

Слова, которые быстро прервались смущенным бормотаньем при виде моей комнаты во мраке.

– Наверно, лампа погасла! – воскликнула она и прибавила, обращаясь к приведенному посетителю:

– Пожалуй, мистера Темпеста нет дома, хотя я видела его полчаса тому назад. Если вы согласитесь подождать здесь минутку, я принесу лампу и посмотрю, не оставил ли он на столе записку.

Она поспешно вышла, и хотя я знал, что должен был заговорить, но какое-то особенное и совершенно необъяснимое злобное настроение заставляло меня молчать и не открывать своего присутствия. Тем временем высокий незнакомец сделал шаг или два вперед, и звучный голос с оттенком иронии окликнул меня по имени:

– Джеффри Темпест, вы здесь?

Почему я не мог ответить? Странное и неестественное упрямство связало мой язык, и, скрытый во мраке моего жалкого литературного логовища, я продолжал молчать. Величественная фигура придвинулась ближе, и мне показалось, что она вдруг как бы покрыла меня своей тенью. И еще раз голос позвал:

– Джеффри Темпест, вы здесь?

Из чувства стыда я не мог более так оставаться, и с решительным усилием сбросил с себя эти странные чары, делавшие меня немым, и, точно притаившийся в глухом убежище трус, несмело вышел вперед и стал перед моим гостем.



Встреча Джеффри Темпеста и Лючио Риманца

– Да, я здесь, – сказал я, – и, будучи здесь, стыжусь такого приема. Вы, конечно, князь Риманец: я только что прочел вашу записку, уведомляющую меня о вашем визите, но я надеялся, что, найдя комнату в темноте, моя квартирная хозяйка решит, что меня нет дома, и проводит вас обратно вниз. Вы видите, я совершенно откровенен!

– Действительно, – ответил незнакомец, и его густой голос вибрировал серебристыми звуками, скрывая насмешку. – Вы так откровенны, что я не могу не понять вас. Вы досадовали на мой сегодняшний визит и желали, чтоб я не пришел!

Это разоблачение моего настроения звучало так резко, что я поспешил отрицать его, хотя и сознавал, что это была правда. Правда даже в мелочах всегда кажется неприятной!

– Пожалуйста, не сочтите меня грубияном! – сказал я. – Но дело в том, что я распечатал ваше письмо лишь несколько минут тому назад, прежде чем я мог все привести в порядок, чтоб принять вас. Лампа погасла так некстати, что я принужден теперь приветствовать вас, против правил общества, в темноте, которая даже мешает нам пожать друг другу руки.

– Попробуем? – спросил мой гость, и звук его голоса смягчился, придавая особенную прелесть его словам. – Моя рука здесь; если в вашей есть немного дружелюбного инстинкта, они встретятся совершенно наудачу, безо всякого управления.

Я протянул свою руку, и она тотчас же почувствовала, теплое и несколько властное пожатие. В этот момент комната осветилась; квартирная хозяйка вошла, неся, как она называла, «свою лучшую лампу», и поставила ее на стол. Я думаю, она воскликнула от удивления при виде меня, она, быть может, даже сказала что-нибудь, – но я не слыхал и не обращал внимания, так как я был поражен и очарован наружностью человека, большая и гибкая рука которого еще держала меня. Я сам довольно высокого роста, но он был на полголовы, если не более, выше, и когда я смотрел прямо на него, я думал, что мне никогда не приходилось видеть столько красоты и ума, соединенных в одном человеческом существе! Прекрасной формы голова указывала на силу и ум и благородно держалась на плечах, достойных Геркулеса. Лицо было овальное и особенно бледное, что придавало почти огненный блеск его темным глазам, которые имели удивительно обаятельный взгляд веселья и страдания вместе. Самой замечательной чертой его лица был рот: несмотря на безупречно красивый изгиб, он был тверд и решителен и не слишком мал. Я заметил, что в спокойном состоянии он отражал горечь, презрение и даже жестокость. Но когда улыбка озаряла его, он выражал – или даже казалось, что выражал – нечто более утонченное, чем страсть, и с быстротой молнии у меня мелькнула мысль, чем могло быть это мистическое необъяснимое нечто. При одном взгляде я заметил эти главные подробности в пленительной наружности моего нового знакомого, и когда он выпустил мою руку, я почувствовал, словно знал его всю жизнь! И теперь, лицом к лицу с ним, при свете лампы, я вспомнил о действительной обстановке, окружающей меня: холодная низкая комната, недостаток огня, черная сажа, насыпанная на полу, мое потертое платье и жалкий вид в сравнении с этим царственно смотревшим индивидуумом, который носил на себе явную очевидность своих богатств. Его длинное пальто было подбито и оторочено великолепными соболями; он расстегнул его и швырнул небрежно, смотря на меня и улыбаясь.

– Я знаю, что пришел в нежеланный момент! – сказал он. – Со мною так всегда! Это мое особенное несчастье! Воспитанные люди никогда не вторгаются туда, где их не желают, и потому я боюсь, что мои манеры оставляют много желать. Если можете, то простите меня ради этого, – и он вынул адресованное мне письмо, написанное знакомой рукой моего друга Кэррингтона.

– И позвольте мне сесть, пока вы будете читать мой документ.

Он придвинул стул и сел.

Я наблюдал его красивое лицо и свободную позу с новым восхищением.

– Не нужно мне никакого документа! – сказал я со всей искренностью, какую я теперь действительно чувствовал. – Я уже получил письмо от Кэррингтона, где он говорит о вас в самых теплых и признательных выражениях. Но факт тот… В самом деле, князь, вы должны извинить меня, если я кажусь сконфуженным или удивленным… Я ожидал встретить совершенного старика…

И я в замешательстве остановился от острого взгляда его блестящих глаз, смотрящих пристально на меня.

– В наше время никто не стар, дорогой сэр, – заявил он. – Даже бабушки и дедушки бодрее в пятьдесят лет, чем они были в пятнадцать. Теперь совершенно не говорят о годах в высшем обществе: это неучтиво, даже грубо. То, что непристойно, не упоминается, а годы сделались непристойностью, поэтому о них избегают говорить. Вы говорите, что ожидали увидеть старика? Хорошо, вы не разочарованы, я – стар. В сущности, вы не можете себе представить, как я стар!

Я рассмеялся на эту нелепость.

– Вы моложе, чем я, – сказал я, – или, по крайней мере, так выглядите.

– Ах, мой вид обманчив! – возразил он весело. – Я, как многие известные модные красавицы, старше, чем кажусь. Но прочтите же рекомендательное послание, что я принес вам. Я до тех пор не буду удовлетворен.

Желая любезностью загладить мою прежнюю грубость, я, тотчас распечатал письмо моего друга и прочел следующее:

«Дорогой Джеффри!

Податель сего, князь Риманец, весьма знатный и образованный джентельмен, происходит от одной древнейшей фамилии Европы, то есть, значит, мира. Тебе как любителю древней истории будет интересно узнать, что его предки были халдейскими принцами, которые потом поселились в Тире, откуда, они перешли в Этрурию, где и оставались несколько столетий; последний потомок этого дома, чрезвычайно одаренная и гениальная личность, которую я, как моего хорошего друга, с удовольствием поручаю твоему вниманию. Некоторые тягостные обстоятельства заставили его покинуть родную провинцию и лишиться большей части своих владений, так что он – странник на значительном протяжении земли. Он много путешествовал и много видел, и имеет широкую опытность в людях и делах. Он – поэт и очень талантливый музыкант, и хотя занимается искусствами только для собственного удовольствия, я думаю, что ты найдешь его практическое знание в литературных делах весьма полезным в твоей трудной карьере. Я должен прибавить, что во всех отраслях науки он безусловный знаток. Желаю для вас обоих сердечной дружбы, остаюсь, дорогой Джеффри,

Твой искренний

Джон Кэррингтон».

На этот раз он счел неуместным подписаться «Босслз», что меня почему-то глупо оскорбило. В этом письме было что-то натянутое и формальное, как если бы оно было написано под диктовку и по настоянию. Что дало мне эту мысль – не знаю. Я украдкой взглянул на моего безмолвного собеседника, он поймал мой нечаянный взгляд и возвратил его с особенной серьезностью. Опасаясь, чтобы внезапное смутное недоверие к нему не отразилось в моих глазах, я поспешно сказал:

– Это письмо, князь, усиливает мой стыд и сожаление, что я так дурно встретил вас. Никакое оправдание не может изгладить мою неучтивость, но вы не можете себе вообразить, как я огорчен, что принужден вас принять в этой нищенской конуре: совершенно не так я бы хотел приветствовать вас!..

И я остановился с возобновившимся чувством раздражения, вспомнив, как теперь действительно я был богат и вопреки этому был вынужден казаться бедным.

Между тем князь легким движением руки прервал мои замечания.

– Зачем огорчаться? – спросил он. – Скорее гордитесь, что вы можете избавиться от пошлых принадлежностей роскоши. Гений вырастает на чердаке, а умирает во дворце. Не есть ли это общепринятая теория?

– Я думаю, скорее, избитая и не правильная, – ответил я. – Гению не мешало бы испытать хоть раз эффект дворца, обыкновенно же он умирает с голода.

– Верно! Но, умирая, так он думает, что многие через это насытятся потом! Шуберт погиб от нужды, но посмотрите, сколько выгоды принесли его сочинения для нотных издателей! Это – прекрасное распределение природы, что честные люди должны жертвовать собой, чтоб дать существование мошенникам.

– Вы говорите, конечно, саркастически? – спросил я. – В действительности вы не верите в это?

– О, верю ли я! – воскликнул он, блестя своими красивыми глазами. – Если б я мог не верить в то, чему меня научила моя опытность, что же осталось бы мне? Во всем нужно покоряться необходимости, как говорит старая поговорка. Нужно покориться, когда дьявол погоняет. Действительно, нельзя найти возражения на это верное замечание. Дьявол погоняет мир с кнутом в руке и, что довольно странно (принимая во внимание, что люди верят в существование Бога), преуспевает в управлении своей упряжкой с необыкновенным искусством!..

Его брови сдвинулись, и линия горечи около рта стала глубже и резче, и, вдруг опять светло улыбнувшись, он продолжал:

– Но не будем морализировать: мораль вызывает тошноту; каждый рассудительный человек ненавидит, чтоб ему говорили, чем он мог бы быть и что он есть. Я пришел для того, чтобы сделаться вашим другом, если вы позволите. И, чтоб покончить с церемониями, поедем ко мне в отель, где я заказал ужин.

Тем временем я совершенно очаровался его свободным обращением, красивой внешностью и мелодичным голосом; его сатирическое настроение подходило к моему. Я чувствовал, что мы отлично сойдемся с ним, и первоначальная досада на то, что он застал меня в таких бедственных обстоятельствах, как-то ослабела.

– С удовольствием! – ответил я. – Но прежде позвольте мне немного объяснить вам положение дел. Вы много слышали обо мне от моего друга Джона Кэррингтона, и я знаю из его письма ко мне, что вы пришли сюда из чувства приязни и желания мне добра. Я благодарю вас за это великодушное намерение! Я знаю, вы ожидали найти бедняка-литератора, борющегося с ужасной нищетой и отчаянием, и часа два кому назад ваши ожидания вполне оправдались бы. Но теперь обстоятельства изменились: я получил известие, которое совершенно меняет мое положение; я получил сегодня вечером удивительный сюрприз…

– Надеюсь, приятный? – осведомился мягко мой собеседник.

Я улыбнулся.

– Судите сами! – и я протянул ему письмо адвокатов, которое уведомляло меня о неожиданно доставшемся мне богатстве.

Он бросил на него быстрый взгляд, затем сложил и возвратил мне с вежливым поклоном.

– Я должен поздравить вас, – сказал он, – что я и делаю. Хотя, конечно, это богатство, которое, по-видимому, радует вас, для меня кажется мелочью. Оно проживется в каких-нибудь восемь лет, или менее. Чтобы быть богатым, по-настоящему богатым, в моем значении этого слова, нужно иметь около миллиона в год. Тогда можно надеяться избежать богадельни.

Он засмеялся, а я глупо уставился на него, не зная, как принять его слова: как правду или как праздное хвастовство. Пять миллионов называть мелочью!

Он продолжал, по-видимому, не замечая моего изумления:

– Неисчерпаемая алчность человека, мой дорогой сэр, никогда не может быть удовлетворена. Если он получит одно, он желает другое, и его вкусы вообще очень дороги. Например, несколько хорошеньких женщин, которым чужды предрассудки, скоро освободят вас от ваших пяти миллионов в погоне за одними бриллиантами. Скачки сделают это еще скорее. Нет-нет, вы не богаты – вы еще бедны, только ваши нужды не так докучливы, как прежде. И, сознаюсь, я сам этим разочарован, так как я шел к вам с надеждой сделать добро хоть раз в жизни и

разыграть отца-кормильца для восходящего гения, и здесь я по обыкновению, предупрежден. Это, знаете, странно, но, тем не менее, это факт: всюду, куда бы я ни пришел с особенным намерением в отношении человека, я всегда уже предупрежден! Действительно это тяжело!

Он остановился и поднял голову, прислушиваясь.

– Что это такое? – спросил он.

Это был скрипач рядом, игравший известную «Аве Мария».

– Как жалобно! – сказал он, презрительно пожав плечами. – Итак, миллионер и будущий знаменитый великосветский лев, я надеюсь, что нет препятствий к предполагаемому ужину? И, может быть, в кафешантан потом, если будет расположение? Что вы на это скажете?

Он дружески хлопнул меня по плечу и посмотрел мне прямо в лицо; эти изумительные глаза, заключающие в себе и слезы, и огонь, глядели на меня светлым властным взглядом, который окончательно покорил меня. Я не пытался сопротивляться той особенной силе, притягивающей меня теперь к этому человеку, которого я только что встретил; ощущение было слишком сильно и приятно, чтобы бороться с ним. Только один момент я колебался, осматривая свое потертое платье.

– Я не в состоянии сопровождать вас, князь, – сказал я. – Я выгляжу скорее бродягой, чем миллионером.

– Вы правы! – согласился он. – Но будьте довольны! В этом отношении вы похожи на многих других крезов. Только гордые бедняки беспокоятся о хорошем платье; они и милые «легкомысленные» дамы скупают обыкновенно все красивое и элегантное. Плохо сидящий сюртук часто покрывает спину первого министра, и если вы увидите женщину, одетую в платье дурного покроя и цвета, вы можете быть уверены, что она страшно добродетельна, известна добрыми делами и, вероятно, герцогиня!

Он встал и притянул к себе свои соболя.

– Какое дело до платья, если кошелек полон! – продолжал он весело. – Пусть только в газетах напишут, что вы миллионер, и, без сомнения, какой-нибудь предприимчивый портной изобретет новый дождевой плащ а-ля Темпест такого же мягко-зеленого художественно-линялого цвета, как ваше теперешнее платье. А теперь поедем! Извещение ваших поверенных должно дать вам хороший аппетит, и я хочу, чтобы вы отдали справедливость моему ужину. Со мной здесь мой повар, а он не лишен искусства. Кстати, я надеюсь, что вы окажете мне услугу, позволив быть вашим банкиром, пока ваше дело не будет законно рассмотрено и утверждено.

Это предложение было сделано так деликатно и дружески, что я не мог не принять его с благодарностью, так как оно освобождало меня от временных затруднений. Я поспешно написал несколько строк квартирной хозяйке, извещая ее, что должные ей деньги будут ей высланы по почте на следующий день; затем, спрятав отвергнутую рукопись, мое единственное имущество, в боковой карман, я потушил лампу и с новым, так неожиданно обретенным другом покинул навсегда мое жалкое жилище и связанную с ним нищету. Я не думал тогда, что придет время, когда я оглянусь на дни, проведенные в этой маленькой невзрачной комнате, как на лучший период моей жизни, когда я посмотрю на испытанную горькую бедность как на руль, которым святые ангелы направляли меня к высоким и благородным целям, – когда я в отчаянии буду молиться с безумными слезами, чтобы быть тем, чем я был тогда! Я не знаю, хорошо или дурно, что наше будущее закрыто от нас. Стали ли бы мы уклоняться от зла, если бы знали его результаты? Это вопрос сомнительный; во всяком случае, в эту минуту я был действительно в блаженном неведении. Я весело вышел из мрачного дома, где я жил так долго между разочарованиями и трудностями, повернув теперь к ним спину с таким чувством облегчения, которое не может быть выражено словами, – и последнее, что я слышал, был жалобный вопль мирной мелодии, словно прощальный крик неизвестного и невидимого скрипача.

IV

Перед подъездом нас ожидала карета князя, запряженная парой горячих вороных рысаков в серебряной сбруе. Великолепные чистокровки били землю и грызли удила от нетерпения; при виде хозяина щегольской ливрейный лакей открыл дверцы, почтительно дотронувшись до шляпы; по настоянию моего спутника я вошел первым и, опустившись на мягкие подушки, почувствовал приятное сознание роскоши и могущества в такой силе, что казалось, будто я уже давно оставил позади себя дни невзгод и печали. Ощущения голода и счастия боролись во мне, и я находился в неопределенном и легкомысленном состоянии, присущем долгому посту, когда абсолютно все кажется недействительным или неосязаемым. Я знал, что я собственно не могу ощутить достоверности моего изумительного счастья, пока мои физические нужды не будут удовлетворены. И я был, так сказать, в колебательном состоянии. Мой мозг кружился вихрем, мои мысли были смутны и бессвязны, и сам я казался себе в каком-то причудливом сне, от которого я должен был немедленно пробудиться.

Карета на резиновых шинах бесшумно катилась, только слышался стук копыт быстро мчавшихся лошадей.

Я видел в полумраке блестящие темные глаза моего нового друга, смотревшие пристально на меня с особенно напряженным вниманием.

– Не чувствуете ли вы, что свет уже у ваших ног, как мяч в ожидании удара ноги? – спросил он полушутя, полуиронически. – Свет так легко приводится в движение. Умные люди во все века старались сделать его менее смешным, с тем результатом, что он продолжает предпочитать мудрости безрассудство. Как мяч или, скажем, как волан, готовый полететь куда угодно и как угодно, лишь бы ракетка была из золота!

– Вы говорите с какой-то горечью, князь, – сказал я. – Но, без сомнения, у вас большая опытность в людях?

– Большая, – повторил он выразительно. – Мое царство очень обширно.

– Значит, вы властелин! – воскликнул я с некоторым удивлением. – Ваш титул не есть только почетный титул?

– О, по правилам вашей аристократии он только почетный титул, – быстро ответил он. – Когда я сказал, что мое царство обширно, я разумел, что властвую везде, где люди подчинены силе богатства. С этой точки зрения не ошибусь ли я, называя мое царство обширным? Не есть ли оно почти беспредельно?

– Я замечаю, вы циничны, – сказал я. – Хотя, конечно, вы верите, что не все можно купить за деньги – честь и добродетель, например?

Он оглядел меня с загадочной улыбкой.

– Я полагаю, что честь и добродетель существуют, – ответил он, – и, существуя, конечно, не могут быть куплены. Но моя опытность научила меня, что я всегда и все могу купить. То, что называется большинством людей честью и добродетелью, не есть ли самые изменчивые чувства, какие можно себе вообразить? Назначьте солидную сумму, и они сделаются подкупны и развратятся в одно мгновение ока! Признаюсь, я раз встретил случай неподкупной честности, но только раз. Я могу встретить опять, но это подлежит большому сомнению. Но возвратимся ко мне, – прошу вас, не думайте, что я хвастаюсь перед вами или выдаю себя под фальшивым титулом. Поверьте мне, что я настоящий князь, и такого рода, каким ни одна из ваших старейших фамилий не может похвалиться; на мое царство разрушено, и мои подданные рассеяны между всеми нациями; анархия, нигилизм и политические смуты вообще заставляют меня скорее умалчивать о моих делах. К счастью, у меня деньги в изобилии, и только ими я прокладываю себе путь. Когда мы будем лучше знакомы, вы узнаете более о моей личной истории. У меня много других имен и титулов, кроме обозначенного на карточке, но я ношу

самое простое из них, так как большинство людей искажает произношение иностранных имен. Мои интимные друзья обычно пропускают титул и зовут меня просто Лючио.

– Это ваше крестное имя? – начал я.

– Нисколько, у меня нет крестного имени, – прервал он поспешно и гневно. – Я не христианин.

Он говорил с таким нетерпением, что на минуту я смутился, не зная, что ответить.

– В самом деле? – пробормотал я смущенно.

Он расхохотался.

– В самом деле! Это все, что вы нашли сказать! В самом деле и опять в самом деле. Вы не христианин, и в действительности – никто: люди претендуют ими быть, и в этом лицемерии, достойном проклятия, они более богохульны, чем падший дьявол! Но я не притворяюсь, у меня только одна вера!

– И это?..

– Глубокая и страшная вера! – сказал он дрожащим голосом. – И хуже всего, что она правильна, правильна, как машина мироздания! Но говорить об этом – кстати, когда чувствуешь унылость духа и желание побеседовать о мрачных и страшных предметах, а теперь мы прибыли уже к месту назначения, и главной заботой в нашей жизни (это главная забота в жизни большинства людей) должен быть вопрос о нашей пище.

Карета остановилась, и мы вышли. При виде пары вороных и серебряной сбруи швейцар отеля и двое-трое слуг бросились к нам, но князь прошел в вестибюль, не замечая никого из них, и обратился к человеку степенного вида, своему собственному лакею, который вышел навстречу ему с глубоким поклоном.

Я пробормотал что-то вроде желания взять для себя комнату в отеле.

– О, мой человек сделает это для вас, – сказал он небрежно. – Дом далеко не полон; во всяком случае, все лучшие комнаты свободны, а конечно, вы хотите одну из лучших.

Глазеющий слуга до этого момента смотрел на мой потертый костюм с видом особенного презрения, выказываемого нахальными холопами тем, кого они считают бедняками, но, услышав это слова, он мгновенно изменил насмешливое выражение своей лисьей физиономии и с раболепством кланялся мне, когда я проходил. Дрожь отвращения пробежала по мне, соединенная с некоторым злобным торжеством: отражение лицемерия на лице этого холопа было, как я знал, только тенью того, что я найду отражающимся в манерах и обращении всего «высшего» общества, так как там оценка достоинств не выше, чем оценка пошлого слуги, и за мерку принимаются исключительно деньги.

Если вы бедны и плохо одеты – вас оттолкнут, но если вы богаты – вы можете носить потертое платье, сколько вам угодно: за вами будут ухаживать, вам будут льстить и всюду приглашать, хотя бы вы были величайшим глупцом или первостатейным негодяем.

Такие мысли смутно бродили в моей голове, пока я следовал за хозяином в его комнаты. Он занимал целое отделение в отеле, имея большую гостиную, столовую, кабинет, убранные самым роскошным образом, кроме того – спальню, ванную комнату и уборную, и еще комнаты для лакея и двух других слуг.

Стол был накрыт для ужина и сверкал дорогим хрусталем, серебром и фарфором, украшенный корзинами самых дорогих фруктов и цветов, и несколько минут спустя мы уже сидели за ним.

Лакей князя служил во главе, и при полном свете электрических ламп я заметил, что лицо этого человека казалось очень мрачным и неприятным, даже таило злое выражение, но в исполнении своих обязанностей он был безукоризнен, будучи быстрым, внимательным и почтительным, так что я внутренне упрекнул себя за инстинктивную неприязнь к нему. Его имя было Амиэль; я невольно следил за его движениями, так они были бесшумны, и его шаги напоминали крадущуюся поступь кошки или тигра.

Ему помогали двое других слуг, одинаково расторопных и хорошо дрессированных, и я наслаждался изысканными блюдами, которых так давно не пробовал, и ароматным вином, о котором могли только мечтать разные знатоки. Я начинал себя чувствовать совершенно легко и разговаривал свободно и доверчиво, и сильное влечение к моему новому другу увеличивалось с каждой минутой, проведенной в его компании.

– Будете ли вы продолжать вашу литературную карьеру теперь, когда вы получили это маленькое наследство? – спросил он, когда после ужина Амиэль поставил перед нами изысканный коньяк и сигары и почтительно удалился.

– Конечно, – возразил я, – хотя бы только для удовольствия. С деньгами я могу заставить обратить на себя внимание. Ни одна газета не откажет в хорошо оплаченной рекламе.

– Верно! Но не откажется ли вдохновение изливаться из набитого кошелька и пустой головы?

Это замечание рассердило меня.

– Вы считаете мою голову пустой? – спросил я, несколько оскорбленный.

– Не теперь, мой дорогой Темпест: не позволяйте выпитому токайскому или коньяку, который мы пьем, говорить так поспешно за вас. Уверяю, что я не считаю вашу голову пустой; напротив, я убежден, как я и слышал, что ваша голова была и есть полна идей – прекрасных идей, оригинальных идей, которых не желает мир условной критики. Но будут ли эти идеи продолжать пускать ростки в вашем мозгу, или полный кошелек остановит их? – вот в чем вопрос. Оригинальность и вдохновение, странно сказать, редко одаряют миллионера. Предполагается, что вдохновение приходит свыше, а деньги снизу! Между тем в вашем случае и то и другое – и вдохновение, и оригинальность – могут далее процветать и давать плоды, я уверен, что могут. Хотя часто случается, что когда мешок денег выпадает на долю честолюбивого гения, Бог покидает его, а черт вступает в свои права. Вы никогда об этом не слыхали?

– Никогда! – ответил я улыбаясь.

– Конечно, эти слова глупы и звучат смешно в наш век, когда не верят ни в Бога, ни в черта. Между тем они означают, что должно выбирать между верхом и низом: гений есть Верх, а деньги – Низ; нельзя в одно и то же время летать и пресмыкаться.

– Не верится, чтобы деньги заставляли человека пресмыкаться, – сказал я. – По-моему, это единственное средство, необходимое, чтобы усилить его дарования и поднять его до самой большой высоты.

– Вы так думаете?

Князь зажег сигару с важным и озабоченным видом.

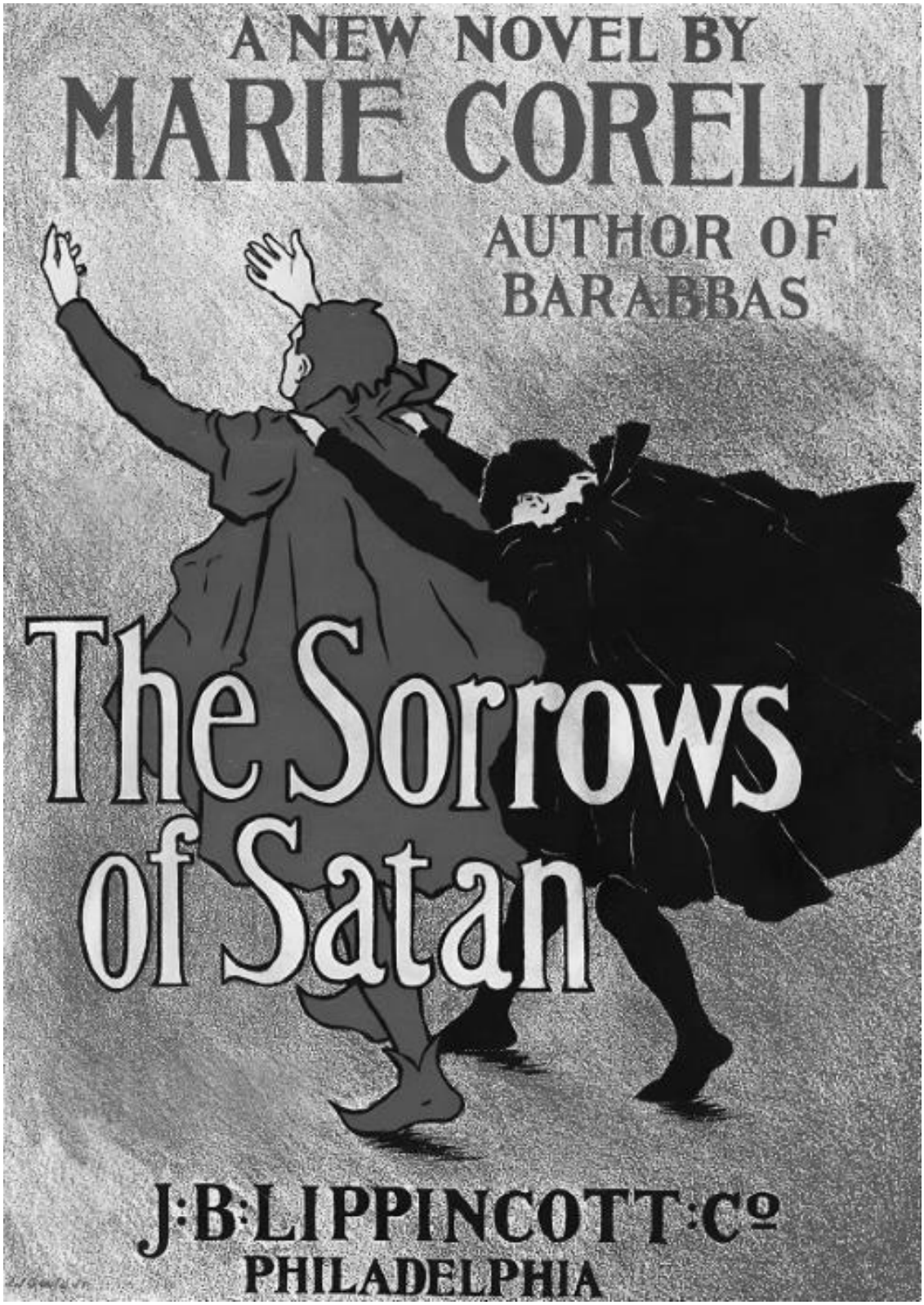
– Тогда я боюсь, что вы мало сведущи по части, как я называю, естественной психологии. То, что принадлежит земле, и влечет к земле. Вы это, конечно, понимаете? Золото принадлежит земле; вы добываете его оттуда, вы пользуетесь им; этот металл – довольно существенный. Гений является, никто не знает откуда, – вы не можете ни откопать его, ни сделать, а будете стоять и дивиться на него; он – редкий гость и капризен, как ветер, и, обыкновенно, производит грустное разрушение между условностями человечества. Это, как я сказал, «высшее» над земными вкусами и понятиями, и те, кто имеет его, всегда живут в неведомых возвышенных сферах. Но деньги – это удобство, очень искусно выровненное с поверхностью земли; когда вам довольно его, вы твердой походкой спускаетесь вниз и внизу остаетесь!

Я засмеялся.

– Честное слово, вы очень красноречиво проповедуете против богатства! – сказал я. – Вы сами необычайно богаты. Разве вы досадуете на это?

– Нет, я не досадую, так как досадовать было бы бесполезно, – возразил он. – А я никогда не трачу свое время. Но я вам говорю правду; гений и большое богатство не живут вместе. Например, я, вы не можете себе представить, какие громадные способности я имел когда-то! Давно, раньше, чем я сделался властелином сам!

– Я уверен, что вы их имеете еще теперь, – утверждал я, глядя на его благородное лицо и прекрасные глаза.



«Скорби Сатаны», новый роман Мари Корелли, автора «Вараввы». Рекламный плакат 1896 г., художник Дж. Дж. Гулд-младший

Странная тонкая улыбка, которую я подмечал уже не раз прежде, осветила его лицо.

– Вы хотите говорить мне комплименты! – сказал он. – Вам, как и многим, нравится моя внешность, но, в конце концов, ничто так не обманчиво, как наружность. Причина этого та, что как только мы переходим детство, мы стараемся быть не тем, что есть, и таким образом от постоянной практики с юных лет мы достигаем того, что наша физическая форма скрывает совершенно наше настоящее «я». В самом деле это и умно, и искусно, потому что каждый индивидуум защищен стеной своего тела от шпионства друзей или врагов, каждый человек есть одинокая душа, заключенная в собственноручно сделанной тюрьме; когда он совершенно один, – он знает и часто ненавидит себя, – иногда он даже пугается лютого чудовища, спрятанного за его телесной маской, и старается забыть его страшное присутствие в пьянстве и распутстве, что и бывает иногда со мной. Вы бы не подумали этого обо мне?

– Никогда, – быстро ответил я.

Что-то в его голосе и взгляде несказанно тронуло меня.

– Вы клевещете на себя!

Он тихо засмеялся.

– Может быть! – небрежно уронил он. – Но это заставит вас подумать обо мне, что я не хуже большинства людей! Теперь вернемся к вопросу о вашей литературной карьере. Вы сказали, что написали книгу; отлично, напечатайте ее и посмотрите результат – если будет «удача», это уже нечто. А способов устроить эту «удачу» много. О чем ваша история? Надеюсь, что-нибудь нескромное?

Разумеется, нет, – возразил я горячо. – Это повесть о благороднейших образцах жизни и о самых возвышенных стремлениях. Я писал ее с намерением поднять и очистить мысли моих читателей и хотел по мере возможности утешить тех, кто страдает и грустит…

Риманец улыбнулся с состраданием.

– Ваша книга не годится, – прервал он. – Уверяю вас, что она не годится. Она не соответствует духу времени. Возможно, ее и приняли бы, если бы вы поместили в ней «первую ночь» с описанием превосходного ужина и всех последствий опьянения. Иначе бесполезно. Для того, чтобы книга имела успех ради себя самой, ей незачем пытаться быть литературной, она должна быть только неприличной. Настолько неприличной, насколько вы можете это сделать, не оскорбляя передовой женщины. Это откроет вам широкое поле. Опишите в подробностях любовную интригу, распространитесь о рождении детей – словом, говорите о мужчинах и женщинах, как о животных, существующих ради единственной цели размножения, и успех ваш будет громадный. Нет ни одного критика, который бы не одобрил вас, нет ни одной пятнадцатилетней школьницы, которая бы не пожирала глазами ваши страницы в безмолвии своей девственной спальни!

Его взгляд сверкал такой злой насмешкой, что я, ошеломленный, не мог найти слов для ответа, и он продолжал:

– Что вам пришло в голову, дорогой Темпест, писать книгу о «благороднейших образцах жизни», как вы говорите? На этой планете нет благородных образцов жизни; во всем подлость и торговля. Человек – ничтожество, и все его цели ничтожны, как он сам. Ибо благородные образцы жизни ищут других миров. Другие миры есть! Опять-таки люди не желают возвышать и очищать свои мысли романами, которые они читают для удовольствия: для этого они ходят в церковь и очень скучают в продолжение службы. И зачем вы хотите утешать людей, которые, обыкновенно, только благодаря своей глупости причиняют себе муки? Они не хотели помочь вам. Они не дали вам шести пенсов, чтобы спасти вас от голода. Мой друг, оставьте ваше сумасбродство вместе с бедностью. Живите для себя. Если вы сделаете что-нибудь для других, эти другие только ответят вам самой черной неблагодарностью; примите мой совет и не жертвуйте своими собственными интересами для каких бы но ни было соображений!

Он встал из-за стола и говорил, стоя спиной к яркому огню и спокойно покуривая сигару. А я смотрел на его красивую фигуру и лицо, терзаясь мучительным сомнением, омрачившим мое восхищение.

– Если бы вы не были так прекрасны, я бы сказал, что вы бессердечны, – промолвил я наконец. – Но ваши черты – прямая противоположность вашим словам. В действительности у вас нет того равнодушия к человечеству, которое вы силитесь присвоить себе. Вся ваша наружность говорит о великодушии, которое вы не можете победить, если бы даже хотели. Кроме того, разве вы не пытаетесь всегда делать добро?

Он улыбнулся.

– Всегда! То есть я всегда занят работой, стараясь удовлетворить людские желания. Хорошо ли это – или дурно с моей стороны, подлежит испытанию. Людские желания беспредельны; единственно, чего ни один из них, по-видимому, не хочет, насколько я заметил, это прервать со мной знакомство!

– Еще бы, конечно, нет! Встретив вас, это невозможно! – И я засмеялся нелепости этой мысли.

Он искоса бросил на меня загадочный взгляд.

– Их желания не всегда доброжелательны, – заметил он, повернувшись, чтобы сбросить пепел от своей сигары за решетку камина.

– Но безусловно, вы не потворствуете им в их пороках! – воскликнул я, все еще смеясь. – Это значило бы разыграть роль благодетеля слишком основательно!

– Я вижу, мы утонем в сыпучих песках теории, если пойдем дальше, – сказал он, – вы забываете, мой друг, что никто не может разрешить, что такое порок и что добродетель. Они, как хамелеон, в разных странах принимают разные цвета. Авраам имел две или три жены и несколько наложниц, а он был добродетельный человек, согласно священному учению, тогда как лондонский лорд Том-Нобби в наше время имеет одну жену и несколько наложниц и, в сущности, очень схож в других свойствах с Авраамом, но, между тем, он считается ужасной личностью. Переменим разговор, иначе мы никогда не кончим. Что нам делать с остатком вечера? Есть в Тиволи хорошо сложенная интересная девица, нашедшая себе покровительство у расслабленного маленького герцога; стоит посмотреть на ее удивительное кривлянье, благодаря которому она втирается в английскую аристократию, чтоб занять определенное положение. Или вы устали и предпочитаете отдохнуть?

Сказать правду, я был совершенно утомлен волнениями дня – и столько же нравственно, сколько физически. Моя голова была тяжела от вина, от которого я совсем отвык.

– В самом деле, мне скорее всего хотелось бы лечь спать, – сознался я, – но как же относительно моей комнаты?

– О, Амиэль позаботился об этом; мы спросим его.

И он позвонил; его лакей сейчас же появился.

– Вы приготовили комнату для мистера Темпеста?

– Да, ваше сиятельство. Апартамент в этом коридоре, почти напротив. Комната обставлена не так, как следует, но я настолько мог, сделал ее комфортабельной для ночи.

– Благодарю, – сказал я, – я вам очень обязан.

Он почтительно поклонился.

– Благодарю вас, сэр.

Он удалился, и я сделал движение, чтобы пожелать моему хозяину покойной ночи.

Он взял мою протянутую руку и держал в своей некоторое время, пытливо глядя на меня.

– Вы мне нравитесь, Джеффри Темпест, – сказал он. – И потому, что вы мне нравитесь, и потому, что, я думаю, в вас есть нечто высшее, чем только земное животное, я хочу предложить вам то, что вы, может быть, найдете странным. Вот что: если я не нравлюсь вам, скажите это сейчас же, и мы разойдемся теперь, прежде чем у нас будет время узнать больше друг друга, и я

постараюсь больше не встречаться на вашем пути, разве вы сами станете искать меня. Если же, наоборот, я нравлюсь вам, если вы находите мой характер и образ мыслей сходными с вашими, дайте мне обещание, что вы будете моим другом и товарищем на некоторое время, на несколько месяцев, во всяком случае. Я вас введу в лучшее общество и представлю вас самым красивым женщинам Европы, как и самым блестящим мужчинам. Я их всех знаю и, думаю, могу быть вам полезен. Он если в вас таится хоть малейшее отвращение ко мне, – здесь он остановился и продолжал с необыкновенной торжественностью, – во имя Господа, не скрывайте его, и я уйду, потому что клянусь вам, я не тот, чем кажусь!

Сильно потрясенный его странным взглядом и странной манерой, я колебался один момент, и этот момент, я знал, решил мою судьбу. Это была правда: во мне волновалось какое-то недоверчивое и отталкивающее чувство к этому обаятельному, но циничному человеку, и он, по-видимому, угадал его. Но теперь все подозрения разрушились, и я сжал его руку с новым приливом задушевности.

– Мой друг, ваше предупреждение пришло слишком поздно, – сказал я радостно. – Кто бы вы ни были или каким бы вы себя ни считали, я вас нахожу крайне симпатичным и счастлив, что встретил вас. Мой старый товарищ Кэррингтон действительно оказал мне услугу, познакомив нас, и уверяю вас что я буду гордиться вашей дружбой. Вам, кажется, доставляет наслаждение унижать себя? Но вы знаете старую поговорку: «Не так страшен черт, как его малюют!»

– И это верно, – промолвил он задумчиво. – Бедный черт! Его проступки, без сомнения, преувеличены. Итак мы друзья?

– Надеюсь, не я первый нарушу договор?

Его темные глаза внимательно остановились на мне, хотя, казалось, улыбка таилась в них.

– Договор – хорошее слово, – сказал он. – Итак, будем считать это договором. Имея теперь состояние, вы обойдетесь без материальной помощи, но я думаю, что могу быть вам полезен, чтобы ввести вас в общество. И, конечно, вы захотите влюбиться, если уже не влюблены?

– Нет, – быстро ответил я и сказал правду:

– До сих пор я не встретил ни одной женщины, которая удовлетворяла бы моим требованиям от красоты.

Он разразился хохотом.

– Честное слово, у вас нет недостатка в смелости, – сказал он. – Только совершенная красота удовлетворит вас? Но примите во внимание, мой друг, что хотя вы красивый и статный молодой человек, но сами не вполне Аполлон.

– Не в том дело, – заметил я. – Мужчина должен выбирать себе жену внимательным глазом, для своего личного удовлетворения, так же как он выбирает лошадь или вино, совершенство или ничего.

– А женщина? – спросил Риманец, и глаза его блеснули.

– Женщина, в сущности, не имеет права выбора, – ответил я; так как это был один из моих любимых доводов, то я с удовольствием говорил. – Она должна подчиняться, когда ее хотят. Мужчина – всегда мужчина, а женщина только принадлежность мужчины и без красоты не может рассчитывать ни на его восхищение, ни на его поддержку.

– Правильно! Весьма правильно и логично! – воскликнул он, сделавшись на минуту чрезвычайно серьезным. – Я сам не симпатизирую новым идеям об интеллектуальности женщины. Она только самка человека, она не имеет собственной души, кроме той, которая является рефлексом его души, и, будучи лишенной логики, она не способна составлять правильное суждение о вещах. Весь обман поддерживается этим истерическим существом, если принять во внимание, какое низшее создание она собой представляет; любопытно проследить, сколько зла она причинила миру, разрушая планы умнейших советников и королей, которые, без сомне-

ния должны были бы господствовать над ней! А в настоящее время она сделалась больше, чем когда-нибудь, неукротимой.

– Это только проходящая фаза, – возразил я небрежно, – придуманная несколькими несимпатичными типами женского пола. Я так мало интересуюсь женщинами, что сомневаюсь, женюсь ли я когда-нибудь.

– У вас вдоволь времени для размышления; пока же забавляйтесь с красавицами en passant «Походя (фр.).», – сказал он, внимательно следя за мной. – А тем временем я покажу вам всевозможные брачные рынки в мире, хотя самый большой из всех, конечно, наша столица. Чудесные торги предстоят вам, милый друг! Образчики удивительных блондинок и брюнеток идут, в сущности, очень дешево. Мы рассмотрим их на досуге. Я рад, что вы сами решили, что мы будем товарищами, потому что я очень горд – могу сказать, дьявольски горд, – никогда не остаюсь в обществе человека, если он выразит хоть малейшее желание избавиться от меня. Покойной ночи!

– Покойной ночи! – ответил я. Мы пожали снова друг другу руки, и прежде, чем мы разъединили их, молния вдруг ярко сверкнула, сопровождаемая страшным раскатом грома. Электричество погасло, и только огонь в камине освещал наши лица. Я был немного ошеломлен и смущен: князь оставался совершенно равнодушным, и его глаза блестели в темноте, как глаза кошки.

– Какая гроза! – заметил он. – Такой гром зимой – довольно необычное явление. Амиэль!

Лакей вошел, его злое лицо походило на белую маску среди мрака.

– Эти лампы погасли, – сказал его господин, – странно, что цивилизованное человечество еще не вполне научилось обращаться с электрическим светом. Можете вы поправить их, Амиэль?

– Да, ваше сиятельство.

И через несколько минут, благодаря искусным манипуляциям, которых я не понял и не мог видеть, хрустальные рожки засветились с новым блеском.

Грянул другой удар грома в сопровождении сильнейшего ливня.

– В самом деле, удивительная погода для января, – сказал Риманец, протягивая мне руку. – Покойной ночи, мой друг! Спите спокойно!

– Если гнев стихии мне позволит! – улыбнулся я.

– О, какое дело до стихии! Человек почти господствует над ней, или скоро так будет. Амиэль, покажите мистеру Темпесту его комнату.

Амиэль повиновался и, перейдя в коридор, ввел меня в большой роскошный апартамент, богато убранный и ярко освещенный. Уютным теплом пахнуло на меня, когда я вошел. И я, который с детства не видал такой роскоши, почувствовал себя более, чем когда-либо, подавленным от радостного сознания моего неожиданного, необыкновенного счастия.

Амиэль почтительно ждал, время от времени украдкой бросая на меня взгляды, в которых, мне казалось, я читал нечто насмешливое.

– Чем могу служить вам, сэр? – спросил он.

– Благодарю вас, вы мне не нужны, – ответил я, стараясь придать небрежную интонацию своему голосу.

Так или иначе, но я чувствовал, что этого человека необходимо держать на своем месте.

– Вы были очень внимательны, я этого не забуду.

Легкая улыбка скользнула по его губам.

– Премного благодарен, сэр. Покойной ночи!

И он удалился, оставив меня одного. Я ходил взад и вперед по комнате, скорее машинально, чем сознательно, пробуя думать, пробуя разобраться в изумительных происшествиях дня, но в моем мозгу еще царил хаос, и единственным рельефным образом являлась замечательная личность моего нового друга Риманца.

Его необыкновенная внешность, обаятельное обращение, его любопытный цинизм, соединенный с глубоким чувством, которому я не мог найти имени; все ничтожные, но, тем не менее, редкие особенности его происхождения и характера преследовали меня и как бы сделались неразрывно смешанными со мной и относящимися ко мне обстоятельствами.

Я разделся перед огнем, прислушиваясь к дождю и грому, который теперь затихал в сердитых отголосках.

– Джеффри Темпест, свет открылся перед тобой! – сказал я, обращаясь к самому себе. – Ты молод, здоров, недурен собой и умен, вдобавок к этому теперь ты имеешь пять миллионов денег и богатого князя другом. Чего же больше ты желаешь от судьбы и фортуны? Ничего, кроме славы! А этого ты достигнешь легко, потому что в наше время даже слава покупается, как любовь. Твоя звезда восходит, и для тебя, мой мальчик, окончилась литературная каторга! Пользуйся покоем и удовольствием в остальной жизни. Ты счастливец! Наконец твой день пришел!

Я бросился на мягкую постель и старался заснуть, но в полудремоте я еще слышал в отдалении глухие отголоски грозы. И раз мне почудился голос князя, звавший «Амиэль! Амиэль!» – с дикостью, похожей на рев рассвирепевшего ветра. В другой раз я внезапно пробудился от глубокого сна под впечатлением, что кто-то подошел и смотрит внимательно на меня.

Я сел на кровать и вглядывался в темноту, так как огонь в камине погас. Я повернул ключик маленькой электрической лампочки около меня, и комната осветилась, но никого не было.

Между тем воображение продолжало играть со мной, прежде чем я снова заснул, и мне казалось, что я слышал около себя свистящий шепот: «Тише! Не беспокой его. Пусть безумец спит в своем безумстве!»

V

На следующее утро, вставая, я узнал, что его сиятельство – как называли князя Риманца его слуги и служащие в отеле, – уехал верхом в парк, оставив меня одного на утренний завтрак. Поэтому я сошел в общую залу, где мне прислуживали с раболепством, несмотря на мое потертое платье, которое я еще принужден был носить, не имея перемены. Когда мне будет угодно завтракать? В котором часу я буду обедать? Останусь ли я в своем апартаменте? Или он не был достаточно удовлетворителен? Может быть, я предпочту «отделение», подобное тому, какое занимает его сиятельство? Все эти почтительные вопросы сначала удивляли меня, а потом стали забавлять. Какие-нибудь таинственные агенты, очевидно, распространяли слух о моих богатствах, и это был первый результат. В ответ я сказал, что ничего не могу решить и в состоянии дать определенные распоряжения не раньше, как через несколько часов, а пока я оставляю комнату за собой. После завтрака я собрался идти к моим поверенным, и только что приказал позвать экипаж, как увидел моего друга, возвращавшегося с прогулки. Он сидел верхом на великолепной гнедой лошади, и теперь горячилась под сдерживающей ее властной, твердой рукой ездока. Она прыгала и вертелась между кэбами и телегами довольно рискованным образом, если б ее господином не был Риманец. Днем он выглядел несравненно красивее; легкий румянец окрасил его естественную бледность лица, и его глаза блестели от моциона и удовольствия.

Я ждал его приближения, также как и Амиэль, который обыкновенно появлялся в коридоре отеля в момент прибытия своего хозяина. Риманец, заметив меня, улыбнулся и дотронулся рукояткой хлыста до шляпы в виде поклона.

– Вы долго спите, Темпест! – сказал он, спрыгивая с лошади и бросая повод груму, который сопровождал его.

– Завтра вы должны поехать со мной и присоединиться к «Liver Brigade», как говорится на модном жаргоне. Раньше считалось в высшей степени неделикатным называть «печень» или другие органы внутреннего механизма, но теперь все это прошло, и мы находим особенное удовольствие рассуждать о некрасивых медицинских предметах. И в «Liver Brigade» вы одним взглядом увидите всех интересных господ, продавших свою душу дьяволу, – людей, которые наедаются до того, что готовы лопнуть, а потом важно парадируют на хороших конях – слишком хороших, чтобы носить на себе такое скверное бремя – в надежде выгнать дьявола из своей зараженной крови. Они думают, что я один из них, но они ошибаются.

Он похлопал лошадь, и грум отвел ее: от быстрого бега мыло покрывало пятнами ее лоснящуюся грудь и передние ноги.

– Зачем же вы присоединяетесь к процессии? – спросил я, смеясь и глядя на него с нескрываемым одобрением; никогда он не казался мне так удивительно сложенным, как в тот раз, в своем ловко сидевшем на нем верховом костюме. – Вы обманываете их!

– Да, – ответил он, – и, знаете ли, в этом случае я не единственный в Лондоне. Куда вы собрались?

К тем поверенным, что мне написали вчера вечером. Имя фирмы – Бентам и Эллис. Чем раньше я побеседую с ними, тем лучше. Как вы думаете?

– Да, но вот что, – и он отвел меня в сторону, – вы должны иметь при себе наличные. Для виду будет нехорошо, если вы сейчас же обратитесь за деньгами, и, в сущности, нет никакой необходимости объяснять этим законникам, что их письмо застало вас на пороге голодной смерти. Возьмите этот бумажник – помните, вы позволили мне быть вашим банкиром – и по дороге зайдите к какому-нибудь известному портному и приоденьтесь.

Он повернулся и пошел быстрыми шагами, а я поспешил за ним, тронутый его добротой.

– Постойте, Лючио!

Я называл его в первый раз этим именем. Он сейчас же остановился.

– Ну?

Он внимательно на меня посмотрел и улыбнулся.

– Вы не даете мне времени говорить, – сказал я тихо, так как мы стояли в общем коридоре отеля. – Дело в том, что у меня есть деньги, то есть я могу их сейчас получить. Кэррингтон прислал мне чек на 50 фунтов в своем письме, я забыл вам об этом сказать. Он был так добр, одолжив их мне. Возьмите их как гарантию за этот бумажник. Кстати, сколько в нем заключается?

– Пятьсот банковыми билетами.

– Пятьсот! Дорогой друг, мне не нужно столько. Это слишком много!

– В наше время лучше иметь слишком много, чем слишком мало! – быстро возразил он. – Дорогой Темпест, не делайте серьезного вопроса из этого! Пятьсот фунтов в сущности ничто. Вы можете истратить их на один туалетный несессер, например. Лучше отошлите назад Джону Кэррингтону его чек; я не очень верю в его великодушие, принимая во внимание, что он открыл руду, стоящую около ста тысяч фунтов, за несколько дней перед моим отъездом из Австралии.

Я выслушал это с большим удивлением и, должен сознаться, также с некоторым чувством обиды. Откровенный и великодушный характер моего старого товарища Босслза, казалось, вдруг померк в моих глазах. Отчего в письме он ни слова не сказал о своей удаче?

Испугался ли он, что я луду беспокоить его дальнейшими займами? Кажется, мой вид выражал мои мысли, потому что Риманец, наблюдавший за мной, тотчас прибавил:

– Разве он ничего не упомянул о своем счастии? Это не по-дружески, но, как я уже говорил, деньги часто портят человека.

– О, я полагаю, он не имел намерения пренебречь мной, – поспешил я сказать с принужденной улыбкой. – Без сомнения, это послужит темой для следующего письма. Что же касается этих пятисот фунтов…

– Оставьте их, мой милый, оставьте их! – произнес он нетерпеливо. – Зачем вы говорите о гарантии? Не получил ли я вас, как гарантию?

Я засмеялся.

– Ну да, теперь я вполне благонадежен и не собираюсь бежать.

– От меня? – спросил он с полухолодным-полуласковым взглядом. – Нет, не думаю!

Он сделал легкое движение рукой и оставил меня, а я положив кожаный бумажник с билетами в боковой карман, кликнул кэб и покатил на Басингхолл-стрит, где мои поверенные ждали меня.

Приехав к месту назначения, я велел доложить о себе и был тотчас же принят с величайшим почтением двумя маленькими человечками, представлявшими собой «фирму». По моей просьбе они послали клерка вниз, чтобы расплатиться и отослать кэб, и я, открыв бумажник Лючио, попросил их разменять билет в 10 фунтов на золото и серебро, что они сделали с большой охотой.

Затем мы вместе занялись делом. Мой скончавшийся родственник, которого я, как себя помню, никогда не видал, но который видел меня сироткой на руках кормилицы, оставил мне безусловно все, что имел, включая несколько редких коллекций картин и драгоценностей. Его завещание было так кратко и ясно, что не было возможности «мудрствовать лукаво» над ним, и мне было объявлено, что через неделю или дней десять самое большее все приведется в порядок и будет в моем исключительном распоряжении.

– Вы очень счастливый человек, м-р Темпест, – сказал мне старший компаньон, м-р Бентам, складывая последнюю из рассмотренных бумаг. – В ваши годы это княжеское наследство принесет вам или большое удовольствие, или большое проклятие, – никогда не знаешь! Обладание таким громадным богатством налагает большую ответственность.

Меня забавляла дерзость этого слуги закона, осмелившегося рассуждать нравоучительно о моем счастии.

– Многие охотно бы приняли эту ответственность и поменялись бы со мной местами, – сказал я с вызывающим видом, – вы сами, например?

Я знал, что это замечание было дурного тона, но я сделал его умышленно, чувствуя, что не его дело проповедовать мне об ответственностях, связанных с богатством. Однако он не обиделся; он только искоса бросил на меня внимательный взгляд, похожий на взгляд размышляющей вороны.

– Нет, м-р Темпест, нет, – сказал он сухо, – не думаю, чтоб я с вами поменялся местом. Я доволен тем, что я есмь. Моя голова – мой банк и приносит мне совершенно достаточные проценты, чтоб жить. Это все, чего я желаю. Жить, не нуждаясь и честно трудиться – с меня довольно. Я никогда не завидовал богатству.

– М-р Бентам философ, – заметил его компаньон м-р Эллис, улыбаясь. – В нашей профессии, м-р Темпест, мы видим так много превратностей судьбы, что следя за переменчивым счастьем наших клиентов, сами научаемся довольствоваться малым.

– Я этому не научился до сих пор, – сказал я весело. – Но в настоящий момент я признаю себя удовлетворенным.

Каждый из них поклонился мне легким официальным поклоном, и м-р Бентам пожал мне руку.

– Дело окончено, позвольте мне поздравить вас, – сказал он вежливо, – конечно, во всякое время, когда бы вы ни пожелали вверить ваши дела в другие руки, мой компаньон и я с совершенной готовностью отретируемся. Ваш покойный родственник имел к нам большое доверие…

– И я также, уверяю вас! – быстро прервал я. – Вы сделаете мне одолжение, продолжая вести мои дела, как вы это делали для моего родственника, и будьте уверены в моей благодарности.

Оба маленькие человечка поклонились опять, и на этот раз мистер Эллис пожал мне руку.

– Мы сделаем для вас все, что в наших силах, мистер Темпест. Не правда ли, Бентам?

Бентам важно кивнул головой.

– А теперь, как вы думаете, следует ли нам сказать это, Бентам, или не следует?

– Может быть, – ответил сентенциозно Бентам, – будет лучше сказать это.

Я смотрел то на одного, то на другого, ничего не понимая.

Мистер Эллис потер руки и улыбнулся.

– Дело в том, мистер Темпест, что у вашего покойного родственника была одна весьма странная идея, и хотя он был человек тонкий и неглупый, но, несомненно, имел весьма странную идею, и, быть может, если бы он ее настойчиво преследовал, что она могла бы привести его в дом умалишенных и помешать ему распорядиться своим громадным состоянием так разумно и справедливо, как он сделал; к счастию для него и для вас, он не настаивал на ней и до последнего дня сохранил свои удивительные качества дельца. Но я не думаю, чтоб он сам когда-нибудь вполне освободился от своей идеи, не правда ли, Бентам?

Бентам задумчиво рассматривал черный круглый знак от газового рожка на потолке.

– Не думаю, нет, не думаю, – ответил он. – Я уверен, что он был совершенно убежден в этом.

– Что это за идея, наконец? – спросил я нетерпеливо. – Не занимался ли он придумыванием нового летательного снаряда, чтоб этим путем отделаться от своих денег?

– Нет, нет, нет!

И мистер Эллис рассмеялся над моим предположением тихим приятным смехом.

– Нет, дорогой сэр, никакие фантазии в механике или торговле не занимали его воображения. Он слишком… э… да, я думаю, что могу так сказать… он слишком глубоко противился

тому, что называется «прогрессом» в свете, для того, чтоб помогать ему новыми изобретениями или другими, какими бы то ни было, средствами. Вы видите, мне немного неловко объяснить вам то, что действительно кажется самой нелепой и фантастической идеей, но – чтоб начать – мы в сущности никогда не знали, каким путем он составил свое состояние. Не правда ли, Бентам?

Бентам плотно сжал губы.

– Мы делали операции с большими суммами и советовали, как лучше их поместить, но спрашивать, откуда они идут, было не наше дело. Не правда ли, Бентам?

Бентам степенно кивнул головой.

– Нам доверяли, – продолжал его компаньон, сжимая нежно кончики пальцев вместе, когда он говорил, – и мы старались оправдать доверие скромностью и верностью, и только после долгих лет деловой связи наш клиент сообщил нам свою идею, самую невообразимую, самую странную: короче, он считал, что продал себя дьяволу, и что его громадное богатство было результатом торговой сделки.

Я от души расхохотался.

– Что за вздорная мысль! – воскликнул я. – Бедняга! Очевидно, у него в мозгу было пятнышко, или, быть может, он употребил это выражение только в фигурном смысле?

– Не думаю, – возразил м-р Эллис, продолжая поглаживать свои пальцы, – не думаю, чтоб наш клиент употребил фразу «продал дьяволу» только как фигуральное выражение. М-р Бентам?

– Положительно нет, – сказал Бентам серьезно, – он говорил о торговой сделке, как о действительном и совершившемся факте.

Я опять засмеялся, но не так бурно.

– В наше время люди имеют всевозможные фантазии, – сказал я, – с блаватскизмом, безантизмом и гипнотизмом. Нечего удивляться, если некоторые еще в глупом старом суеверии сохранили слабую веру в существование дьявола, но для вполне здравомыслящего человека…

– Да-а, да, – прервал м-р Эллис, – ваш родственник был вполне здравомыслящий человек, и эта идея была единственной фантазией, укоренившейся в его в высшей степени практический ум. Будучи только идеей, она едва ли достойна быть упомянутой, но, может быть, хорошо, м-р Бентам согласен со мной, что мы упомянули о ней.

– Для нас большое облегчение, что мы упомянули о ней, – подтвердил мистер Бентам.

Я улыбнулся, поблагодарив их, встал, чтоб идти. Они поклонились мне одновременно еще раз, выглядывая почти как близнецы – так их общая практика закона тождественно запечатлелась на их чертах.

– До свидания, м-р Темпест, мне незачем говорить, что мы будем служить вам, как служили нашему прежнему клиенту, по мере наших сил. Могу я вас спросить, не потребуется ли вам немедленно некоторая сумма?

– Нет, благодарю вас, – ответил я, чувствуя признательность к моему другу Риманцу, поставившему меня в совершенно независимое положение перед этими адвокатами.

– Благодарю вас, у меня более, чем нужно.

Они, по-видимому, немного удивились, но удержались от какого-либо замечания.

Они записали мой адрес и послали клерка проводить меня. Я дал этому человеку полсоверена, чтобы выпил за мое здоровье, и он с радостью обещал это сделать.

Затем я пошел пешком, стараясь уверить себя, что это не сон, а я действительно, как дважды два четыре, миллионер.

Свернув за угол, я неожиданно столкнулся с человеком, оказавшимся тем самым редактором, который накануне вернул мне мою отвергнутую рукопись.

Узнав меня, он сразу остановился.

– Куда вы идете? – спросил он. – Пробуете поместить этот несчастный роман? Мой милый, поверьте мне, что он не годится…

– Он не годится? Он должен годиться, – сказал я спокойно, – я сам издам его.

Он отступил.

– Сами издадите! Силы небесные! Да это вам обойдется в шестьдесят или семьдесят, а, может быть и в сто фунтов стерлингов.

– Мне все равно, если б даже мне это стоило тысячу.

Краска залила его лицо, и глаза широко раскрылись от удивления.

– Я думал… простите меня… – запинался он, – я думал, вы нуждались в деньгах…

– Я нуждался, – ответил я сухо, – но не нуждаюсь теперь.

Его в высшей степени растерянный вид вместе с переворотом, поставившим вверх дном мою жизнь, произвел на меня такое возбуждающее впечатление, что я разразился хохотом, дико, шумно, неистово, что, по-видимому, встревожило его, так как он стад нервно оглядываться по сторонам, как бы помышляя о бегстве.

Я схватил его за руку и сказал, стараясь обуздать свое почти истерическое веселье:

– Я не сумасшедший, не думайте этого, я только миллионер!

И опять принялся хохотать. Положение казалось мне крайне смешным, но почтенный редактор не находил этого, и его черты выражали столько неподдельной тревоги, что я сделал последнее усилие овладеть собой, и мне это, наконец, удалось.

– Даю вам честное слово, что я не шучу, это факт. Вчера вечером я нуждался в обеде, и вы, как добрый человек, предложили мне его, сегодня я обладаю пятью миллионами. Не смотрите так! Вы получите апоплексический удар! Итак, я вам уже сказал, что сам издам свою книгу, и она должна иметь успех! О, я совершенно серьезен! Теперь в моем бумажнике больше, чем достаточно, чтоб заплатить за ее издание!

Я выпустил его руку, и он отшатнулся, ошеломленный и сконфуженный.

– С нами Бог! – пробормотал он слабо, – это похоже на сон! Я никогда в своей жизни не был так удивлен!

– И я тоже!

Искушение к новому взрыву хохота грозило этому спокойствию.

– Но в жизни, как и в сказках, случаются чудеса. И книга, которую отвергли лекторы, будет краеугольным камнем или успехом сезона! Сколько вы возьмете, чтоб издать ее?

– Я? Чтоб я издал ее?

– Ну да, вы… Почему же нет? Если я предлагаю вам возможность честно заработать деньги, неужели куча ваших нанятых «лекторов» помешает вам принять ее? Вы не раб, здесь свободная страна. Я знаю, из тех, которые читают для вас, сухой, никем не любимый пятидесятилетний брюзга, буквоед, страдающий дурным пищеварением, сам потерпел неудачу в литературе, и поэтому ничего другого не найдет сделать, как только нацарапать ругательную рецензию на работу, подающую надежду. Зачем же вам доверяться такому некомпетентному мнению? Я заплачу вам за издание моей книги сумму, какую вы сами назначите, и даже больше – за доброе желание. И я вам ручаюсь, что она даст не только мне имя, как автору, но и вам, как издателю. Я не пожалею средств на рекламирование и заставлю работать прессу. Все на свете покупается за деньги.

– Постойте, постойте, – прервал он, – это так неожиданно! Я должен подумать! Дайте мне время обсудить.

– В таком случае, даю вам день на размышление, – сказал я, – но не больше, так как, если вы не скажете «да», я найду другого человека, который хорошо наживется вместо вас. Будьте благоразумны, мой друг! Прощайте!

– Подождите!.. Видите ли, вы такой странный, такой возбужденный, ваша голова, по-видимому, идет кругом!

– Верно! И есть от чего!

– Бог мой! – и он улыбнулся. – Позвольте же мне поздравить вас. И знаете ли, я действительно искренно поздравляю вас. – И он горячо пожал мне руку. – А что касается книги, то я уверен, что ее в сущности хулили не в отношении литературного стиля и таланта – она просто была слишком, слишком возвышенной, а потому не подходящей ко вкусу публики. Строка о «беззакониях домашнего очага», как вы находим, имеет наибольший успех в наше время. Но я подумаю о вашей книге. Где вас найдет мое письмо?

– Гранд-отель, – ответил я, внутренне забавляясь его растерянным и беспокойным видом; я знал, что уже мысленно он рассчитал, сколько можно взять с меня за выполнение моего литературного каприза. – Приходите ко мне завтра обедать или завтракать, если хотите, только прежде дайте мне знать. Помните, я даю вам ровно сутки для обдумывания. В двадцать четыре часа вы должны решить: да или нет.

И с этим я оставил его, смотрящего в недоумении мне вслед, как человек, который увидел какое-нибудь чудо, упавшее с неба к его ногам. Я продолжал свой путь, неслышно смеясь над самим собой, пока не заметил, что несколько прохожих удивленно на меня посмотрели, и я пришел к заключению о необходимости скрывать свои мысли, если не желаю быть принятым за сумасшедшего. Я шел очень скоро, и мое возбуждение мало-помалу остыло. Я возвратился в нормальное состояние флегматичного англичанина, который прежде всего старается не обнаруживать какого бы то ни было личного волнения. И остаток утра я посвятил покупке готового платья, какое, на мое необыкновенное счастье, оказалось мне совершенно впору, и сделал крупный, если не сказать экстравагантный, заказ модному портному, обещавшему мне исполнить все быстро и аккуратно. Затем я отослал мой долг хозяйке моей бывшей квартиры с прибавкой лишних пяти фунтов, в благодарность бедной женщине за ее долгий терпеливый кредит и вообще за ее доброту ко мне в течение моего пребывания в ее неприглядном доме. Сделав это, я возвратился в Гранд-отель в прекрасном настроении, выглядя и чувствуя себя много лучше в новом, хорошо сидящем на мне платье. Слуга встретил меня в коридоре и с самым раболепным почтением доложив мне, что «его сиятельство князь» ждет меня завтракать в своих апартаментах. Я сейчас же отправился туда и нашел моего нового друга одного в роскошной гостиной; он стоял у громадного окна и держал в руке продолговатый хрустальный ящичек, на который он смотрел почти с любовью.

– А, Джеффри! Вы здесь! – воскликнул он. – Я рассчитывал, что вы покончите с делами к завтраку, а потому ждал.

– Очень мило с вашей стороны! – сказал я, довольный дружеской фамильярностью, которую он выказал, называя меня по имени. – Что у вас там?

– Мой любимец, – ответил он, слегка улыбнувшись. – Видали ль вы что-нибудь подобное раньше?

VI

Я подошел и посмотрел ящичек, который он держал. Он был просверлен тонко сделанными дырочками для доступа воздуха, и внутри находилось блестящекрылое насекомое вроде жучка, окрашенное во все цвета радуги.

– Живой он? – спросил я.

– Живой и с достаточной долей разума. Я кормлю его, и он знает меня; это, можно сказать, высшая степень цивилизации большинства человеческих существ: они знают, кто их кормит. Как вы видите, он совсем ручной.

Князь открыл ящичек и протянул свой указательный палец. Блестящее тельце жука затрепетало всеми оттенками опала; его лучезарные крылья распустились, и, поднявшись на руку своего покровителя, он вцепился в нее. Риманец поднял ее и держал в воздухе, затем слегка встряхнул ею и воскликнул:

– Лети, Дух! Лети и возвращайся ко мне!

Насекомое высоко поднялось и кружилось у потолка, как радужный драгоценный камень, и шум его крыльев во время полета издавал звук, похожий на жужжанье. Я следил за ним, очарованный, пока после нескольких грациозных движений туда и сюда оно не возвратилось на все еще протянутую руку своего господина и опять не уселось там без дальнейших попыток летать.

– Доказывают, что в жизни – смерть, – сказал тихо князь, устремив свои темные глаза на трепещущие крылья насекомого, – но этот принцип не правилен, как и многие избитые человеческие принципы. «В смерти – жизнь», – мы должны сказать. Это существо – редкое и любопытное произведение смерти, и я думаю, не единственное в своем роде. Другие были найдены при точно таких же обстоятельствах, а этого я отыскал лично сам. Я не наскучу вам рассказом?

– Напротив! – возразил я горячо, не отрывая глаз от радужного насекомого, которое сверкало при свете, как если б его жилы были из фосфора.

С минуту он помолчал, следя за мной.

– Итак, это случилось просто. Я присутствовал при развертывании одной египетской женской мумии. Ее талисманы описывали ее, как принцессу знаменитого царского дома. Несколько любопытных драгоценностей висело вокруг ее шеи, и на груди находился кусочек битого золота в четверть дюйма толщины. Под золотой пластинкой ее туловище было обернуто необыкновенным количеством благоуханных покрывал, и когда их сдвинули, то нашли, что тело посреди груди сгнило, и в пустоте, или гнезде, образовавшемся от процесса разложения, было найдено живым это насекомое, такое же блестящее, как теперь.

Я не мог удержаться от легкого нервного содрогания.

– Какой ужас! – сказал я. – Признаюсь, что, будь я на вашем месте, я бы не сделал своим любимцем такой опасный предмет! Я думаю, что я бы убил его!



Мисс Мария Корелли и ее любимая собачка.
Открытка конца XIX века

Он в упор посмотрел на меня.

– Зачем? – спросил он. – Я боюсь, мой милый Джеффри, что у вас нет склонности к науке. Убить бедняжку, которая нашла жизнь на груди смерти, на жестокая ли это мысль? Для меня это неклассифицированное насекомое служит ценным доказательством (если бы я нуждался в нем) неразрушимости зачатков сознательного существования; у него есть глаза и чувства вкуса, обоняния, осязания и слуха, и оно получило их вместе с разумом из мертвого тела женщины, которая жила и, без сомнения любила, и грешила, и страдала более четырех тысяч лет тому назад!

Он остановился и вдруг прибавил:

– Все-таки, откровенно говоря, я с вами согласен и считаю его злым созданием. В самом деле! Но я люблю его не меньше за это. Факт тот, что я сам составил о нем фантастическое представление. Я склонен признавать идею о переселении душ и иногда, чтоб удовлетворить свою причуду, я верю в возможность, что принцесса этого царского египетского дома имела порочную, блестящую и кровожадную душу и что… вот здесь о н а!

При этих словах холодная дрожь пробежала по мне, и пока я смотрел на говорящего князя, на его высокую фигуру, стоящую передо мной, при зимнем свете, с «порочной, блестящей и кровожадной душой», прицепленной к его руке, мне показалось, что вдруг нечто безобразное обнаружилось в его поразительной красоте. Меня охватил необъяснимый ужас, который я приписал впечатлению рассказанной истории, и вешив побороть свои ощущения, я стал разглядывать более внимательно волшебного жучка. Его блестящие бисерные глазки сверкали, как мне казалось, враждебно, и я отступил назад, сердясь на самого себя за овладевший мною страх перед этим существом.

– Это замечательно! – пробормотал я. – Неудивительно, что вы цените его как редкость. Его глаза совершенно явственны и почти разумны.

Безусловно, она имела красивые глаза, – сказал Риманец.

– Она? Кого вы подразумеваете?

– Принцессу, конечно, – ответил он, очевидно забавляясь, – милую умершую даму; некоторые из свойств ее должны быть в этом существе, принимая во внимание, что оно питалось только ее телом.

И он положил насекомое в его хрустальное жилище с самой нежной заботливостью.

– Я полагаю, что вы делаете из этого вывод, что ничто в сущности не умирает окончательно?

– Безусловно, – ответил он выразительно. – Ничто не может всецело уничтожиться, даже мысль.

Я молчал и следил за ним, когда он убирал стеклянный ящичек со своим опасным жильцом.

– А теперь будем завтракать, – сказал он весело, беря меня под руку, – вы выглядите на двадцать процентов лучше, чем сегодня утром, Джеффри, и я полагаю, что ваши дела удачно устроились. А что еще вы делали?

Сидя за столом, с прислуживающим мрачным Амиэлем, я рассказал ему мои утренние приключения, распространившись о встрече с редактором, который накануне не принял моей рукописи и который, я был уверен, с радостью теперь согласится на сделанное ему предложение.

Риманец слушал внимательно, по временам улыбаясь.

– Конечно, – сказал он, когда я кончил, – ничего нет удивительного в поведении этого почтенного господина. Он выказал замечательную скромность и выдержку, не соглашаясь на ваше предложение. Его забавное лицемерие в просьбе дать ему время на размышление только доказывает, что он человек тактичный и дальновидный. Представляли ли вы себе когда-нибудь человеческое существо или человеческую совесть, которых нельзя было бы купить? Мой друг, папа продаст вам специально прибереженное место на небе, если вы только заплатите ему на

земле! Ничего не дается даром на этом свете, кроме воздуха и солнечного сияния; все остальное должно покупаться – кровью, слезами, иногда стенанием, но чаще всего деньгами.

Мне почудилось, что Амиэль, стоявший за стулом своего господина, улыбнулся при этом, и моя инстинктивная неприязнь к нему заставила меня умолчать о моих делах до окончания завтрака. Я не мог определить причину моего отвращения к этому верному слуге князя, но отвращение оставалось и увеличивалось с каждым разом, когда я видел его угрюмые и, как мне казалось, насмешливые черты. Между тем он был совершенно почтителен и внимателен. Я не мог, в сущности, хулить его, однако, когда он, наконец, поставил кофе, коньяк и сигары на стол и бесшумна удалился, я почувствовал большое облегчение и вздохнул свободнее.

Как только мы остались одни, Риманец зажег сигару и принялся курить, смотря на меня с особенным интересом и добротой, что делало его красивое лицо еще обаятельнее.

– Теперь поговорим, – сказал он. – Я думаю, что в настоящее время я ваш лучший друг, и, конечно, я знаю свет лучше, чем вы. Как вы предполагаете устроить вашу жизнь, то есть, говоря другими словами, как вы начнете тратить деньги?

Я рассмеялся.

– Разумеется, я не пожертвую вклад на построение церкви или больницы; я даже не организую свободную библиотеку, потому что это учреждение, кроме того, что делается центром заразительных болезней, обыкновенно поступает под председательство комитета местных торговцев, которые осмеливаются считать себя судьями в литературе. Дорогой князь, я хочу тратить деньги на свое собственное удовольствие и полагаю, что способов для этого найду в изобилии.

Риманец отмахнул дым своей сигары рукой, и его темные глаза светились особенным ярким светом сквозь носящийся в воздухе серый туман.

– С вашим состоянием вы можете сделать сотни людей счастливыми, – заметил он.

– Благодарю, сперва я сам хочу быть счастливым, – ответил я весело, – я, наверно, кажусь вам эгоистом: я знаю, вы – филантроп, а я нет.

Он продолжал испытующе глядеть на меня.

– Вы можете помочь вашим собратьям по литературе…

Я прервал его решительным жестом.

Этого, мой друг, я бы никогда не сделал. Мои литературные собратья давали мне пинки при каждом удобном случае и старались изо всех сил помешать мне заработать средства к существованию. Теперь мой черед толкать их, и я покажу им столько же милосердия, помощи и симпатии, сколько они показали мне!

– Месть сладка! – процитировал он сентенциозно. – Я бы порекомендовал вам издавать перворазрядный журнал.

– Зачем?

– Нужно ли спрашивать? Подумайте о том удовольствии, когда вы будете получать рукописи ваших литературных врагов и кидать их обратно им, бросать их письма в корзину для негодной бумаги и отсылать назад их поэмы, романы и политические статьи с заметкой на оборотной стороне: «Возвращают с благодарностью», – или: «Для нас не подходит». Вонзить нож в ваших соперников анонимной критикой! Завывающая радость дикаря с двадцатью скальпами у пояса будет бесцветна в сравнении с этим! Я сам был когда-то редактором и я знаю!

Я рассмеялся над его горячностью.

– Мне кажется, вы правы, – сказал я, – я сумею основательно занять мстительную позицию! Но заведование журналом будет слишком беспокойно для меня, слишком свяжет меня.

– Не заведуйте им! Последуйте примеру всех крупных издателей и совершенно отстранитесь от дела, но получайте выгоду! Вы никогда не увидите настоящего редактора передовой ежедневной газеты, а только беседуете с его помощником. Действительный же редактор находится, смотря по сезону, в Шотландии, в Аскоте или зимует в Египте; предполагается, что

он ответствен за все в своем журнале, но обыкновенно, он является последним лицом, знающим что-либо о нем. Он доверяет своему «штабу», весьма плохой подпоре иногда и когда его «штаб» в затруднении, они выпутываются из него, говоря, что не в состоянии решить что-либо без редактора. Тем временем редактор преспокойно благодушествует где-нибудь за тысячу верст. Вы можете обманывать публику тем же путем, если хотите.

– Я бы мог, но я так не хочу, – ответил я, – если бы у меня было дело, я бы не пренебрегал им. Я люблю все делать основательно.

– Так же, как я, – произнес быстро Риманец, – я сам всегда проникаюсь делом и за что бы я ни брался, я делаю со всей душой!

Он улыбнулся, как мне показалось, иронически.

– Итак, как же вы начнете пользоваться наследством?

– Прежде всего я издам мою книгу, ту самую книгу, которую никто не хотел принять. А теперь я заставлю Лондон заговорить о ней.

– Возможно, что вы это и сделаете, – сказал он, смотря на меня полузакрытыми глазами сквозь облако дыма. – Лондон любит толки. Особенно о некрасивых и сомнительных предметах. Поэтому, как я вам уже намекнул, если б ваша книга была смесью Золя, Гюисманса и Бодлера или если б имела своей героиней «скромную» девушку, которая считает честное замужество «унижением», то вы могли бы быть уверены в успехе в эти дни новых Содома и Гоморры.

Тут он вдруг вскочил, бросил сигару и встал передо мной.

Отчего с неба не падает огненный дождь на эту проклятую страну? Она созрела для наказания – полная отвратительных существ, недостойных доже мучений ада, куда, сказано, осуждены лжецы и лицемеры! Темпест, если есть человеческое существо, которого я более всего гнушаюсь, так это тип человека, весьма распространенный в наше время, – человека, который облекает свои мерзкие пороки в платье широкого великодушия и добродетели. Такой субъект будет даже преклоняться перед потерей целомудрия в женщине, потому что он знает, что только ее нравственным и физическим падением он может утолить свое скотское сластолюбие. Чем быть таким лицемерным подлецом, я предпочел бы открыто признать себя негодяем!

– Это потому, что у вас самих натура благородная, – сказал я. – Вы исключение из правила.

– Исключение? Я? – и он горько усмехнулся. – Да, вы правы. Я – исключение, быть может, между людьми, но я подлец сравнительно с честностью животных! Лев не принимает на себя повадок голубя, он громко заявляет о своей свирепости. Змея, как ни скрытны ее движения, выказывает свои намерения шипением. Вой голодного волка слышен издалека, пугая торопящегося путника среди снежной пустыни. Но человек более злостный, чем лев, более вероломный, чем змея, более алчный, чем волк, – он пожимает туку своего ближнего под видом дружбы, а за спиной мешает его с грязью. Под улыбающимся лицом он прячет фальшивое и эгоистичное сердце, кидая свою ничтожную насмешку на загадку мира, он ропщет на Бога. О Небо! – Здесь он прервал себя страстным жестом. – Что сделает Вечность с таким неблагодарным слепым червем, как человек?

Его голос звучал с особенной силой, его глаза горели огненным пылом.

Его вид произвел на меня ошеломляющее впечатление, и я с потухшей сигарой уставился на него в немом изумлении.

Что за вдохновенное лицо! Что за величественная фигура! Какой царственный, почти богоподобный вид был у него в этот момент! А между тем было что-то страшное в его позе, полной вызова и протеста. Он поймал мой удивленный взгляд, и пыл страсти поблек на его лице; он засмеялся и пожал плечами.

– Я думаю, что я рожден быть актером, – сказал он небрежно. – По временам меня одолевает любовь к декламации. Тогда я говорю, как говорят первые министры и господа в парламенте, приспособляясь к характеру часа и не придавая значения ни одному сказанному слову!

– Я не принимаю такого объяснения, – чуть-чуть улыбнулся я, – вы должны придавать значение тому, что говорите; хотя мне думается, что вы скорее натура, действующая под влиянием импульса.

– В самом деле, вы так думаете! – воскликнул он. – Как это умно с вашей стороны, милый Джеффри, как это умно! Но вы ошибаетесь! Нет существа менее импульсивного или более обремененного умыслом, чем я. Верьте мне или не верьте, как хотите. Вера – такое чувство, которое навязать принуждением нельзя. Если б я сказал вам, что я опасный товарищ, что я люблю зло больше, чем добро, что я ненадежный руководитель человека, что бы вы подумали?

– Я бы подумал, что вы чувствуете странную склонность обесценивать свои качества, – сказал я, снова зажигая сигару и несколько забавляясь его горячностью. – И я любил бы вас так же, как люблю теперь, и даже больше, если б это было возможно.

Он сел и устремил прямо на меня свои темные загадочные глаза.

– Темпест, вы следуете примеру хорошеньких женщин: они всегда любят самых отъявленных негодяев!

– Но вы же не негодяй, – заметил я, спокойно куря.

– Нет, я не негодяй, но во мне много дьявольского.

– Тем лучше! – И я лениво развалился на стуле. – Я надеюсь, что и во мне также сидит дьявол!

– Вы верите в него? – спросил Риманец, улыбаясь.

– В дьявола? Конечно, нет!

– Он – весьма интересная легендарная личность, – продолжал князь, закуривая другую сигару и принимаясь медленно пускать клубы дыма, – и он является сюжетом не одной изящной истории. Вообразите его падение с небес! «Люцифер, Сын Утра» – Что за название, что за первенство! Предполагается, что существо, рожденное от Утра, образовалось из прозрачного чистого света; вся теплота поднялась от миллиона сфер и окрасила его светлое лицо, и весь блеск огненных планет пылал в его глазах. Прекрасный и верховный стоял он, этот величественный Архангел, по правую руку Божества, и пред его неутомимым взором проносились великие творческие великолепия Божеской мысли и мечты. Вдруг он заметил вдали, между зародышными материями, новый маленький мир и на нем существо, формирующееся медленно, существо, хотя слабое, но могущественное, хотя высшее, но легкомысленное, – странный парадокс! – предназначенное пройти все фазисы жизни, пока, приняв душу Творца, оно не коснется сознательного Бессмертия – Вечного Торжества. Тогда Люцифер, полный гнева, повернулся к Властелину Сфер и кинул свой безумный вызов, громко закричав: «Не хочешь ли Ты из этого ничтожного слабого создания сделать Ангела, как я? Я протестую и осуждаю Тебя! Если Ты сделаешь человека по нашему образу, то я скорее уничтожу его совершенно, чем стану делить с ним великолепие Твоей Мудрости и славу Твоей Любви!» И Голос страшный и прекрасный ответил ему: «Люцифер, Сын Утра, тебе хорошо известно, что ни одно праздное и безумное слово не должно быть произнесено при мне, так как Свободная Воля есть дар Бессмертных; поэтому, что ты говоришь, то ты и сделаешь! Поди, Гордый Дух, Я лишаю тебя твоего высокого чина! Ты падешь и твои ангелы вместе с тобой! И не возвратишься, пока человек сам не выкупит тебя, поднимет тебя ближе к нему! Когда свет оттолкнет тебя, я прощу тебя и снова приму, но не до тех пор».

– Я никогда не слыхал такого переложения легенды, – сказал я. – Идея, что человек выкупит дьявола, совершенно нова для меня.

– Не правда ли? – Он пристально посмотрел на меня. – Это один из самых поэтичных вариантов истории. Бедный Люцифер! Конечно, его наказание вечно, и расстояние между ним и Небом должно увеличиваться с каждым днем, потому что человек никогда не поможет ему поправить ошибку. Человек отвергнет скорее и охотнее Бога, но дьявола никогда. Посудите

тогда, как этот «Люцифер, Сын Утра», Сатана или как иначе он называется должен ненавидеть человечество!

Я улыбнулся.

– Хорошо, но ему оставлено средство, – заметил я, – он не должен никого искушать.

– Вы забываете, что, согласно с легендой, он связан своим словом. Он поклялся перед Богом, что совершенно уничтожит человека; поэтому, если может, он должен исполнить эту клятву. Ангелы, по-видимому, не могут клясться перед Вечным без того, чтоб не стараться исполнить свои обеты. Люди клянутся именем Бога ежедневно без малейшего намерения сдержать свои обещания.

– Но все это бессмыслица! – сказал я и оттенком нетерпения. – Все эти старые легенды истрепались. Вы рассказываете историю очень хорошо и так, как если б сами верили в нее: это потому, что вы одарены красноречием. В наше время некто не верит ни в дьяволов, ни в ангелов. Я, например, даже не верю в существование души.

– Я знаю, что вы не верите, – проговорил он мягко, – и ваш скептицизм весьма удобен, потому что он освобождает вас от всякой личной ответственности. Я завидую вам, так как, к сожалению, я принужден верить в душу.

– Принуждены! – повторил я. – Это абсурд: некого нельзя принудить принять ту или другую теорию.

Он взглянул на меня и блуждающей улыбкой, которая скорее омрачила, чем осветила его лицо.

– Верно! Совершенно верно! Нет принудительной силы во всей вселенной. Человек – высшее и независимое творение, хозяин всего, что он обозревает, не признающий другой власти, кроме своего желания. Верно. Я забыл! Но оставим, прошу вас, теологию и психологию и будем говорить о единственном предмете, в котором есть и смысл, и интерес, – то есть о деньгах. Я замечаю, что ваши планы определенны: вы хотите напечатать книгу, которая наделает шуму и даст вам известность. Это довольно скромно! Нет ли у вас более широких замыслов? Есть несколько способов, чтоб заставить о себе говорить. Могу я вам их перечислить?

Я засмеялся.

– Если хотите!

– Хорошо. Во-первых, я посоветую вам поместить о себе в газетах статейку. Пресса должна знать, что вы чрезвычайно богатый человек. Существуют агенты, занимающиеся составлением статей; я полагаю, они это сделают довольно хорошо за десять или двадцать гиней.

Я раскрыл глаза.

– Разве это так делается?

– Как же иначе это может делаться, мой друг? – спросил он несколько нетерпеливо. – Неужели вы думаете, что что-нибудь делается на свете без денег? Неужели бедные, работающие свыше сил, журналисты для того, чтоб обратить на вас внимание публики, не возьмут что-нибудь за труды? Я знаю одного «литературного агента», весьма почтенного господина, который за сто гиней заставит прессу так работать, что в несколько недель публике покажется, что Джеффри Темпест, миллионер – единственная особа, которой пожать руку есть честь, следующая после встречи с королевской фамилией.

– Залучите его! – сказал я весело. – Заплатите ему д в е с т и гиней. Тогда весь свет услышит обо мне.

Когда о вас основательно прокричат в газетах, – продолжал Риманец, – следующим шагом будет вступление в так называемое «чопорное» общество. Это делается осторожно и постепенно. Вы должны быть представлены на первом сезоне, а потом я устрою вам приглашение в дома некоторых знатных дам, где вы встретите за обедом принца Уэльского. Если вы удостоитесь понравиться или сделать какое-нибудь одолжение его королевскому высочеству – тем

лучше для вас: он популярная королевская особа в Европе. Далее вам необходимо купить замок и опубликовать этот факт, а затем вы можете спокойно почить на лаврах. Общество примет вас!

Я от души рассмеялся: его рассуждение забавляло меня.

– Я не предложу вам, – продолжал он, – причинять себе беспокойства, впутавшись в парламент. Для карьеры джентльмена это не есть необходимость. – Но я вам сильно рекомендую выиграть Дерби.

– Еще бы! Это восхитительная мысль, но не так легко исполнимая.

– Если вы хотите выиграть Дерби, вы его выиграете. Я гарантирую и лошадь и жокея!

Что-то в его решительном тоне поразило меня, и я наклонился вперед, чтоб внимательно рассмотреть его черты.

– Разве вы чудотворец? – шутливо спросил я.

– Испытайте меня! Итак, нужно ли достать вам лошадь?

– Если не поздно и вы этого хотите, – сказал я, – то я даю вам полную свободу, но я должен откровенно вам сказать, что мало интересуюсь скачками.

– Значит, вы должны переделать ваш вкус, – возразил он, – если хотите понравиться английской аристократии, потому что она мало чем другим интересуется. Нет ни одной знатной дамы, не имеющей свою изюминку, хотя бы ее познания в правописании были далеко не совершенны. Вы можете иметь наибольший литературный фурор сезона, но в «высшем» обществе это сочтется за ничто; если же вы выиграете Дерби, вы сделаетесь действительно знаменитостью. Собственно говоря, я имею много дел с ипподромом, я посвятил себя ему. Я присутствую при каждой большой скачке, не пропуская ни одной. Я всегда играю и никогда не проигрываю! А теперь я продолжаю рисовать план наших общественных действий. Выиграв Дерби, вы примете участие в гонке яхт в Коусе и позволите принцу Уэльскому чуть-чуть обогнать вас. Затем вы дадите большой обед, приготовленный великолепным шефом, и позабавите его королевское высочество песней «Британия господствует», красивым комплиментом, а в изящно изложенном спиче вы намекнете на эту самую песню; вероятным результатом всего этого будет одно или два королевских приглашения. Пока отлично. Во время летней жары вы отправитесь в Гамбург пить воды, все равно, нужно ли это вам или нет. А осенью вы устроите охоту в купленном замке и пригласите королевскую особу присоединиться к вам, чтобы убивать бедных маленьких куропаток. Тогда ваша известность будет признана обществом, и вы можете жениться на какой угодно прекрасной леди!

– Благодарю! Премного обязан!

И я дал волю искреннему смеху.

– Честное слово, Лючио, ваша программа превосходна! В ней ничего не упущено!

– Это ортодоксальный круг общественного успеха, – сказал Лючио с восхитительной серьезностью. – Ум и оригинальность не добьются его, только деньги совершают все.

– Вы забываете мою книгу, – заметил я, – в ней, я знаю, есть и ум, и также оригинальность. Я уверен, что она, сверх того, поднимет меня на значительную высоту.

– Сомневаюсь и очень сомневаюсь, – ответил он. – Она, конечно, будет принята благосклонно, как произведение богача, забавляющегося литературой как прихотью. Но, как я говорил вам раньше, гений редко развивается под влиянием богатства. Аристократы никогда не могут извлечь его из своих отуманенных голов, и литература принадлежит Grub-Street «Название одной лондонской улицы, где печатаются и продаются разные дешевые плохие издания и живут преимущественно бедные писатели.». Великие поэты, великие философы, великие романисты всегда неопределенно зовутся «высшим» обществом как «этот сорт людей». «Этот сорт людей так интересен», – говорят снисходительно олухи синей крови, как бы извиняясь за знакомство с некоторыми членами литературного класса. Вообразите себе чопорную леди Елизаветинского времени, спрашивающую подругу: «Ты разрешишь, дорогая, представить тебе

одного мистера, Вильяма Шекспира? Он пишет драмы и что-то делает в Глоб-театре, я опасаюсь, он немного играет; он очень нуждается, бедняга, но этот сорт людей так забавен!» Вы, мой дорогой Темпест, не Шекспир, но ваши миллионы дадут вам более шансов, чем он имел когда-либо в своей жизни, и так как вам незачем домогаться покровительства или приседать перед «my Lord» или «my Lady», – эти величавые особы только обрадуются случаю занимать у вас деньги, если вы будете давать их.

– Я не буду давать.

– Не будете давать?

Его проницательные глаза блеснули одобрением, и он сказал:

– Я очень рад, что вы решили не «творить добро» вашими деньгами, как говорят ханжи. Вы умны! Тратьте их на себя, потому что самый акт растрачивания не может не принести пользы другим различными путями. Я всегда принимаю участие в благотворительности и вношу свое имя в подписные листы и никогда не отказываю в помощи духовенству.

– Удивляюсь этому, – заметил я, – особенно, как вы сказали мне, что вы не христианин.

– Да, это должно казаться странным, не правда ли? – сказал он особенным тоном, извиняющим скрытую насмешку. – Но, может быть, вы не смотрите на это в настоящем свете. Многие делают все возможное, чтобы разрушить религию – ханжеством, лицемерием, чувственностью и различными обманами, – и когда они ищут моей помощи для такого благородного дела, я даю ее легко.

Я засмеялся.

– Очевидно, вы шутите, – сказал я, бросая окурок сигары в огонь, – и я вижу, что вы любите осмеивать свои добрые деяния… Что это такое?

В этот момент входил Амиэль, неся мне телеграмму на серебряном подносе. Я открыл ее: она была от моего приятеля, редактора, и содержала следующее: «Принимаю книгу с удовольствием. Пришлите рукопись немедленно».

Я показал ее с триумфом Риманцу. Он улыбнулся.

– Само собой разумеется! Что же другое вы ожидали? Только этот человек должен был иначе написать свою телеграмму, так как я не могу предположить, чтоб он принял вашу книгу с удовольствием, если б не рассчитывал хорошо на ней нажиться. «Принимаю деньги за издание книги с удовольствием» – было бы вернее. Хорошо, что же вы намерены делать?

– А вот это я сейчас увижу, – ответил я, чувствуя удовлетворение, что наконец-то пришло время для отмщения некоторым моим врагам. – Книга должна быть в печати как можно скорее, и я с особенным удовольствием лично займусь всеми относящимися к ней деталями. Что же касается остальных моих планов…

– Предоставьте их мне, – сказал Риманец, властно кладя безукоризненной формы руку на мое плечо, – предоставьте их мне! И будьте уверены, что без долгого ожидания вы подниметесь наверх, как медведь, удачно достигнувший лепешки на вершине смазанной жиром мачты, – зрелище для зависти людей и удивление для ангелов.

VII

Три или четыре недели пролетели, как вихрь, и к концу их я с трудом узнавал себя в праздном, беспечном, экстравагантном светском человеке, которым я неожиданно сделался. Иногда, случайно, в уединенные минуты, прошедшее возвращалось ко мне, как в калейдоскопе, проносились неприглядные картины минувшего, и я видел себя голодного, плохо одетого, склонившегося над бумагами в своей унылой квартире, несчастного, но среди всего своего несчастия, однако, получавшего отраду в мыслях, которые создавали красоту из нищеты и любовь из одиночества. Эта творческая способность теперь спала во мне, я делал очень мало, я думал еще меньше. Но я чувствовал, что эта интеллектуальная апатия была только преходящей фазой – умственными каникулами и желанным отдыхом от мозговой работы, на который я заслуженно имел право после всех страданий бедности и отчаяния. Моя книга печаталась, и, может быть, самым большим удовольствием, из всех, которыми я теперь пользовался, была для меня корректура первых листов, по мере того, как они поступали мне на просмотр.

Между тем, даже это авторское удовлетворение имело свой недостаток, и мое личное неудовольствие было каким-то странным. Я читал свою работу, конечно, с наслаждением, так как я не отставал от своих собратьев, думая, что все, что я делал, было хорошо, но мой снисходительный литературный эгоизм был смешан с неприятным удивлением и недоверием, потому что моя работа, написанная с энтузиазмом, обсуждала чувства и твердила о теориях, в которые я не верил. Как это случилось? – спрашивал я себя. Зачем же я вызывал публику принять меня по фальшивой оценке?

Эта мысль ставила меня в тупик. Как я мог написать книгу, совершенно не похожую на меня, каким я теперь знал себя?

Мое перо, сознательно или бессознательно, написало то, что мой рассудок всецело отвергал, как, например, веру в Бога, веру в предсказанный прогресс человека. Я не верил ни в ту, ни в другую из этих доктрин. Когда мной овладевали безумные сны, что я – бедняк, умирающий с голода, не имевший друга в целом свете, то, вспоминая все это, я поспешно решил, что мое так называемое «вдохновение» было действием изнуренного мозга. Но, тем не менее, было нечто утонченное в поучительности истории, и однажды днем, когда я занимался пересмотром последних корректурных листов, я поймал себя на мысли, что книга была благороднее, чем ее автор. Эта идея причинила мне внезапную боль. Я бросил свои бумаги и остановился у окна. Шел сильный дождь, и улицы были черны от грязи; промокшие пешеходы имели жалкий вид, вся перспектива казалась печальной, и факт, что я был богатым человеком, не преодолел уныния, незаметно закравшегося в меня. Я был совершенно один, так как я теперь имел свой собственный ряд комнат в отеле, недалеко от тех, которые занимал князь Риманец. Я также имел своего слугу, порядочного человека, который мне нравился скорее за то, что разделял мое инстинктивное отвращение к княжескому лакею Амиэлю. Затем я имел своих лошадей и карету, кучера и грума, так что князь и я, будучи самыми задушевными друзьями на свете, должны были, избегая той «фамильярности», которая вызывает презрение, поддерживать каждый свой отдельный «имидж». В этот особенный день я был в более отвратительном расположении духа, чем в дни моей бедности, хотя, с рассудительной точки зрения, мне не о чем было горевать. Я обладал громадным состоянием, я пользовался прекрасным здоровьем и имел все, что хотел, сознавая, что если бы мои желания увеличились, я легко могу удовлетворить их. Под руководством Лючио пресса работала с таким хорошим результатом, что я видел свое имя в каждой лондонской газете, как «знаменитого миллионера». И для пользы публики, к сожалению, несведущей в этих делах, я могу пояснить, как неприкрашенную истину, что за четыреста фунтов стерлингов «Факт. (Прим. Автора).» хорошо известное «агентство» гарантирует помещение все равно какой, лишь бы не пасквильной, статьи, не менее, как в 400 газе-

тах. Таким образом, искусство «рекламирования» легко объясняется, и публика в состоянии понять, почему некоторые имена авторов постоянно встречаются в печати, тогда как другие, быть может, более достойные, остаются в неизвестности. Заслуга ставится в этих случаях ни во что, – за деньги приобретается все.

Настойчивое упоминание моего имени с описанием моей наружности и моих «удивительных литературных дарований», вместе с почтительными и довольно явными намеками на «миллионы», которые и делали меня таким интересным (статья была написана самим Лючио и передана в вышесказанное «агентство» с придачей кругленькой суммы), – все это, я говорю, доставило мне две напасти: во-первых, целую гору приглашений на общественные и артистические должности, а во-вторых – непрерывный поток просительных писем. Я был принужден завести секретаря, занимавшего комнату недалеко от моего «отделения» и буквально целый день заваленного работой. Излишне говорить, что я отказывал на все денежные просьбы: никто не помог мне в моих бедствиях, кроме старого товарища Босслза; никто, кроме него, не сказал мне даже доброго слова. И я решил теперь быть таким же жестоким и таким же беспощадным, какими тогда я нашел своих собратьев. Я со злорадством прочел письма двух-трех литераторов, просящих занятия, «как секретаря или компаньона», или немного денег «взаймы», чтоб «перебиться с затруднениями». Один из этих просителей был журналист в хорошо известной газете, который обещал найти мне работу и который вместо того, как я потом узнал, сильно отговаривал редактора дать мне какое-нибудь занятие. Он не воображал, что Темпест – миллионер и Темпест – наемный писатель были одно и то же лицо – так мало вероятия, чтобы богатство могло выпасть на долю автора! Я ответил ему сам лично и сказал ему то, что, я считал, он должен был знать, прибавляя свою саркастическую благодарность за его дружелюбную помощь в дни моей крайней нужды, – и в этом я вкушал наслаждение мести. Я никогда больше о нем не слыхал, и я уверен, что мое письмо дало ему материал не только для удивления, но и для размышления. Между тем, несмотря на преимущества, какими я теперь пользовался, я не мог по совести сказать, что я был счастлив. Я знал, что я был одним из людей, которому больше всего завидовали, а между тем… Когда я стоял и смотрел в окно на непрерывно идущий дождь, я чувствовал скорее горечь, чем сладость в полной чаше богатства. Многое, от чего я ожидал необыкновенного удовлетворения, оказалось бесцветным. Например, я завалил прессу тщательно изложенными и бросающимися в глаза рекламами о моей книге, и когда я был беден, я рисовал себе картину буйного веселья, какому я предался бы в этом случае, но теперь меня даже это почте не занимало; мне надоело видеть свое собственное имя в газетах. И хотя я с понятным интересом ожидал издания моего труда, но сегодня и эта мысль потеряла свою привлекательность из-за нового и неприятного впечатления, что содержание книги было совершенно противоположно моим истинным мыслям. Улицы сделались темными от тумана и дождя, и, почувствовав отвращение к погоде и к самому себе, я отвернулся от окна и уселся в кресло у камина, мешая уголь, пока он не запылал, и придумывая способ, как бы избавить свой дух от мрака, который угрожал окутать его таким же густым покровом, как лондонский туман.

Кто-то постучал в дверь, и в ответ на мое несколько раздраженное: «Войдите!» – Риманец вошел.

– Что это значит: все в темноте, Темпест? – воскликнул он весело. – Отчего вы не зажжете свет?

– Огня довольно, – ответил я сердито, – во всяком случае довольно, чтобы думать.

– А, вы думали? – спросил он смеясь. – Не делайте этого. Это дурная привычка. В наше время никто не думает. Люди не могут выдержать этого, их головы слишком слабы. Только начать думать – и основы общества рухнут; кроме того, думать – работа скучная.

– Я согласен с этим, – сказал я мрачно. – Лючио, со мной что-то неладно!

Его глаза засветились.

– Неладно? Что же может быть неладного с вами, Темпест? Разве вы не один из самых богатых людей?

Я пропустил насмешку.

– Послушайте, мой друг, – сказал я горячо, – вы знаете, что последние две недели я был очень занят, корректируя мою книгу для печати.

Он, улыбаясь, кивнул головой.

– Я почти кончил мою работу и пришел к заключению, что книга не «я», она нисколько не отражает мои чувства, и я не могу понять, каким образом я написал ее.

– Может быть, вы находите ее пустой? – сочувственно спросил Лючио.

– Нет, – ответил я с оттенком негодования, – я не нахожу ее пустой.

– Скучной тогда?

– Нет, не скучной.

– Мелодраматичной?

– Нет, не мелодраматичной.

– Хорошо, мой друг, если она не пуста, не скучна и не мелодраматична, какая же она? – воскликнул он весело. – Она должна быть чем-нибудь!

– Да… и вот она что: она выше меня! – Я говорил с некоторой горечью:

– Гораздо выше меня! Я бы не мог написать ее теперь, и я удивляюсь, как я мог написать ее тогда! Лючио, я говорю глупо, но, право, мне кажется, что мои мысли парили высоко, когда я писал книгу, на той высоте, с которой я упал с тех пор.

– Мне жаль это слышать! – Его глаза сверкнули. – Из ваших слов я заключаю, что вы были виноваты в литературной выспренности. Дурно, весьма дурно! Ничего не может быть хуже. Выспренно писать – самый тяжкий грех, которого критики никогда не прощают. Я досадую за вас! Я никогда б не подумал, что ваше дело было настолько безнадежно.

Я рассмеялся, несмотря на свое уныние.

– Вы неисправимы, Лючио, – сказал я, – но ваше хорошее расположение духа действует ободряюще. Вот что я хотел объяснить вам: моя книга выражает мысли, которые, считаясь моими, совсем не мои. Одним словом, я, в моем теперешнем я, не симпатизирую им. Я, должно быть, сильно изменился с тех пор, как написал их.

– Изменились? Еще бы! – Лючио расхохотался. – Обладание пятью миллионами связано со значительной переменой в человеке к лучшему или к худшему! Но вы, по-видимому, мучаетесь из-за ничего. Ни один автор в продолжение многих веков не пишет от сердца, или, если он действительно чувствует то, что пишет, то делается почти бессмертным. Эта планета слишком ограничена, чтобы иметь больше одного Гомера, одного Платона, одного Шекспира. Не терзайте себя, вы ведь не один из этих трех! Вы принадлежите своему веку, Темпест, – декадентскому, эфемерному веку, и многое, что связано с ним, также декадентское и эфемерное. Эра, в которой господствует только любовь к деньгам, имеет внутри гнилую сердцевину и должна погибнуть. Вся история говорит нам об этом, но никто не принимает во внимание урока истории. Заметьте признаки времени. Искусство подчинено любви к деньгам; литература, политика и религия – также; вы не можете избежать общей болезни. Единственно, что остается делать, это извлечь из нее самую большую выгоду; никто не может излечить ее, наименее всего вы, которому так много выпало на долю.

Он остановился, я молча следил за пылающим огнем и падающей красной золой.

– То, что я скажу сейчас, – продолжал он почти меланхолично, – покажется смешным и устарелым, но в этом лежит прозаическая истина: чтобы писать с чувством, вы должны сами чувствовать. Очень вероятно, что когда вы писали свою книгу, вы были вроде человека-ежа в смысле чувства. Каждая из ваших острых игл поднималась и отвечала на прикосновение различных влияний: приятного или совершенно противоположного, воображаемого или действительного. Это такое положение, которому одни завидуют и от которого другие предпочли

бы избавиться. Теперь, когда вам, как ежу, нет необходимости в самозащите или беспокойстве, ваши иглы успокоились в приятном бездействии, и вы перестали чувствовать. Вот и все. Перемена, на которую вы жалуетесь, объясняется так: вам нечего чувствовать, и отсюда вы не можете понять, как это было, что вы чувствовали.



Кадр из фильма «The Sorrows of Satan», 1926 г.

Его спокойный убедительный тон раздосадовал меня.

– Не считаете ли вы меня за бездушную тварь? – воскликнул я. – Вы ошибаетесь во мне, Лючио: я чувствую, и чувствую живейшим образом…

– Что вы чувствуете? – спросил он, пронизывая меня взглядом. – В этой столице сотни несчастных, умирающих от голода мужчин и женщин, помышляющих о самоубийстве, потому что у них нет надежды на что-нибудь лучшее ни в этом, ни в будущем свете, и не от кого ждать симпатии… Чувствуете ли вы за них? Тревожат ли вас их горести? Вы знаете, что нет, вы никогда о них не думаете… зачем? Одно из главных преимуществ богатства – то, что оно дает нам способность удалять чужие несчастия от нашего личного внимания.

Я ничего не сказал; в первый раз его правдивые слова рассердили меня, главным образом, потому, что они были правдивы.

– Увы, Лючио! Если б я только знал тогда, что я знаю теперь!

– Вчера, – продолжал он тем же спокойным тоном, – как раз против этого отеля переехали ребенка. Это был только бедный ребенок. Заметьте, что только. Его мать с воплем прибежала из одной бедной улицы и увидела уже его маленькое тельце все в крови, представляющее бесформенную массу. Она дико била обеими руками людей, старавшихся отвести ее, и с криком, похожим на крик раненого дикого зверя, упала мертвая лицом в грязь. Она была только бедная женщина – другое «только». Об этом в газетах поместили лишь три строчки под заглавием «Печальный случай». Здешний швейцар смотрел на всю сцену так же спокойно, как фат на драматическое представление, сохраняя невозмутимую величавость своей осанки, но не прошло десяти минут после того, как труп женщины был убран, он, важное, надутое существо, сделался почти горбатым в своей подобострастной поспешности открыть дверь вашего брума, мой милый Темпест, когда вы остановились у подъезда. Это – маленькое наблюдение из жизни в наши дни, а между тем духовенство клянется, что мы все равны перед Богом. Я не желаю морализировать, я только хотел вам рассказать «печальный случай», как он произошел, – и я уверен, что вы нисколько не жалеете ни ребенка, которого переехали, ни его мать, которая внезапно умерла от разрыва сердца. Не говорите мне, что вы жалеете их, так как я знаю что нет!

– Как можно жалеть людей, которых не знаешь?.. – начал я.

– Совершенно верно! Возможно ли это? Как можно чувствовать, когда самому так хорошо и весело живется, чтобы иметь какое-нибудь чувство, кроме материального довольства? Итак, мой милый Джеффри, вы должны быть довольны своей книгой, как отражением вашего прошлого, когда вы переживали хрупкий или чувствительный период. Теперь вы заключены в толстый золотой покров, который защищает вас от влияний, могущих заставить вас скорбеть и содрогаться, может быть, кричать от негодования и в припадке неистовых мучений простирать руки и хватать, совершенно бессознательно, крылатое существо, называемое славой!

– Вам бы следовало быть оратором, – сказал я, вставая и принимаясь в раздражении шагать взад и вперед по комнате, – но для меня ваши слова неутешительны, и я не думаю, чтоб они были правдивы. Слава приобретается достаточно легко.

– Простите, если я упрям, – сказал Лючио с жестом испрашивающим прощения, – известность легко приобретается, очень легко. Несколько критиков, пообедавших с вами и нагрузившихся вином, дадут вам известность. Но слава есть голос всей цивилизованной публики на свете.

– Публика! – повторил я презрительно. – Публика интересуется только пустяками.

– В таком случае досадно, что вы обращаетесь к ней, – сказал он с улыбкой. – Если вы так пренебрегаете публикой, зачем же тогда делиться с ней своими мыслями? Она недостойна такой редкой милости! Довольно, Темпест, не брюзжите, подобно неудачным авторам, которые защищаются, ругая публику. Публика – лучший друг автора и его вернейший критик. Если вы предпочитаете презирать ее вместе с мелкими торгашами литературы, составляющими общество взаимного восхищения, я скажу вам, что делать: напечатайте ровно двадцать экземпляров вашей книги и представьте их критикам, и когда они распишут о вас (что они сделают, так как я позабочусь об этом), то пусть ваш издатель опубликует, что «первое и второе большое

издание» нового романа Джеффри Темпеста раскуплено, сто тысяч экземпляров проданы в одну неделю! Если это не подействует на публику, я буду очень удивлен!

Я замялся; постепенно мое настроение улучшалось.

– Это будет план действия, принятый многими современными писателями, – сказал я, – но я так не хочу: я хочу достичь славы законным путем, если могу.

– Вы не можете, – заявил Лючио. – Это немыслимо! Вы слишком богаты, что само по себе незаконно в литературе, которой свойственна бедность. Борьба не может быть равна в таких обстоятельствах. Факт, что вы миллионер, перевесит баланс в вашу пользу, но время и свет не могут устоять против денег. Если б я, например, сделался автором, я бы, вероятно, мог с моим богатством и влиянием сжечь лавры всех других. Предположим, что безнадежно больной человек является с книгой в одно время с вами – едва ли он будет иметь шанс против нас. Он не в состоянии так расточительно себя рекламировать, как вы; также он не может угощать обедами критиков, как вы. И если у него больше дарования, чем у вас, а вы будете иметь успех, то этот успех не будет законным. Но в конце концов это не так важно – в искусстве вещи всегда оправдывают себя.

Я не сразу ответил, но подошел к столу, свернул исправленные листы, написал адрес типографии, затем позвонил и отдал пакет моему лакею Морису, приказав отнести его сейчас же. Сделав это, я повернулся к Лючио и увидел, что он продолжал сидеть у камина, но его поза теперь выражала меланхолию, и он закрыл глаза рукой, на которую пламя бросало красный свет. Я пожалел о том минутном раздражении, которое я почувствовал против него за то, что он сказал мне правду, и дотронулся слегка до его плеча.

– Теперь ваша очередь грустить, Лючио! – сказал я. – Я боюсь, что мое уныние оказалось заразительным.

Он отнял свою руку, его глаза были большие и лучистые, как глаза красивой женщины.

– Я думал, – вздохнул он, – о последних словах, только что мною произнесенных: «вещи всегда оправдывают себя». Любопытно, что в искусстве так всегда бывает: ни шарлатанство, ни обман не уживаются с богами Парнаса. В другом же совсем иначе. Например, я никогда не оправдываю себя. По временам жизнь мне ненавистна, как она ненавистна всем.

– Может быть, вы влюблены? – спросил я с улыбкой.

Он вскочил.

– Влюблен! Клянусь небом, что эта мысль будит во мне чувство мести! Влюблен! Какая женщина может очаровать меня, с моим убеждением, что она не более как хрупкая бело-розовая кукла с длинными волосами, часто не ее собственными. Что же касается женщин с мальчишескими ухватками или новых типов новой эры, я их совершенно не признаю за женщин: они просто ненормальные зародыши нового пола, который не будет ни мужским ни женским. Мой милый Темпест, я ненавижу женщин. Вы бы также ненавидели их, если б знали их, как знаю их я. Они сделали меня тем, что я есть, и они держат меня таким.

– В таком случае, их можно поздравить, – заметил я, – вы придаете им значение!

– Да, – ответил он тихо.

Легкая улыбка озарила его лицо, и его глаза горели подобно бриллиантам; этот странный блеск я замечал не раз.

– Но поверьте мне, что я никогда не буду оспаривать у вас такого ничтожного дара, как женская любовь, Джеффри; она не стоит того, чтоб драться из-за нее. Кстати о женщинах: я вспомнил, что обещал графу Эльтону привезти вас к ним в ложу сегодня вечером в Haymarket. Он – бедный пэр с подагрой и с сильным запахом портвейна, но его дочь леди Сибилла – одна из первых красавиц Англии. Она была представлена ко двору в прошлом сезоне и произвела фурор. Хотите поехать?

– Я совершенно в вашем распоряжении, сказал я, очень довольный случаю избежать скуки одиночества и быть в обществе Лючио, разговор которого, если даже и раздражал меня иногда своей сатирой, тем не менее всегда пленял мой ум и оставался в памяти.

– В котором часу нам встретиться?

– Ступайте теперь одеваться и к обеду приходите, а потом мы вместе поедем в театр. Пьеса будет на обычную тему, которая в последнее время сделалась популярной на подмостках: прославление «падшей дамы» и выставление ее как примера чистоты и добра перед удивленными глазами простаков. Как пьеса, она не заслуживает внимания, но, быть может, леди Сибилла будет достойна его.

Он стоял против меня и улыбался. Огонь в камине потух, и мы очутились почти в темноте; я нажал кнопку, и комната осветилась электрическим светом. Его необычайная красота снова поразила меня, как нечто особенное и почти неземное.

– Не находите ли вы, что на вас слишком много смотрят, Лючио? – спросил я его вдруг.

Он засмеялся.

– Нисколько! Зачем людям смотреть на меня? Каждый человек так занят своими собственными целями и так много думает о своей личности, что вряд ли забудет свое эго, если б даже сам черт был сзади него. Женщины иногда на меня смотрят с эффектированным жеманством и с кошачьими ужимками, что, обыкновенно проделывается прекрасным полом при виде красивого мужчины.

– Я не могу их за это осуждать! – воскликнул я, не отрывая глаз от его величественной фигуры и прелестного лица, в таком восхищении, какое я мог бы испытывать, глядя на картину или статую. – Но скажите-ка мне, как смотрит на вас эта леди Сибилла, которую предстоит нам сегодня встретить?

– Леди Сибилла никогда меня не видела, – ответил он, – и я видел ее только издали. Очевидно, граф Эльтон пригласил нас сегодня в ложу с целью познакомить с ней.

– А! Брак в виду!

– Да, я думаю, что леди Сибилла назначена в продажу, – ответил он с бесчувственною холодностью, и его красивые черты выглядели, как непроницаемая маска презрения. – До сей поры предложенные цены не были достаточно высоки. Но я не стану покупать. Я уже сказал вам, Темпест, я ненавижу женщин.

– Серьезно?

– Самым серьезным образом. Женщины всегда вредили мне: они всегда мешали мне в моем прогрессе. И за что я особенно презираю их, это за то, что им дана громадная сила делать добро, а они растрачивают зря эту силу и не пользуются ею. Их предумышленность и выбор отталкивающей, вульгарной и пошлой стороны жизни возмущают меня. Они гораздо меньше чувствительны, чем мужчины, и бесконечно более бессердечны. Они – матери человеческой расы, и ошибки расы главным образом принадлежат им. Это другая причина моей ненависти.

– Не ожидаете ли вы совершенства от человеческой расы? – спросил я удивленно. – Ведь это невозможная вещь!

Один момент он казался погруженным в мысли.

– Все в мире совершенно, – сказал он, – кроме этого любопытного произведения природы – человека. Приходила ли вам когда-нибудь мысль, отчего он является единственной ошибкой, единственным несовершенным творением в бесподобном творчестве?

– Нет, никогда. Я принимаю вещи, какими вижу их.

– Как и я! – И он направился в двери. – И как я вижу их, так и они видят меня! Au revoir «До свидания (фр.).». Помните, обед через час!

Дверь открылась и закрылась; он ушел. Я остался один, думая, что за странное он существо – что за странное смешение философии, светскости, чувства и иронии, которые, казалось, вились, как жилки листа, через изменчивый темперамент этой блистательной полутаинствен-

ной личности, случайно сделавшейся моим наибольшим другом. Около месяца мы были с ним более или менее вместе, и я был не ближе к тайне его настоящей натуры, чем вначале. Между тем я восторгался им больше, чем когда-либо: я сознавал, что без его общества жизнь была бы лишена половины своей прелести. Хотя, привлеченные, как мотыльки, светом блестящих миллионов, множество так называемых «друзей» окружало меня теперь, но не было ни одного среди них, который бы так распоряжался каждым моим настроением, и которому бы я так симпатизировал, как этому человеку – этому властному, полужестокому, полуласковому товарищу моих дней, смотрящему временами на всю жизнь как на вздорную шутку и на меня – как на действующее лицо пошлой забавы.

VIII

Я думаю, ни один человек не забудет минуты, когда он в первый раз очутился лицом к лицу с идеальной женской красотой. Он мог часто встречать привлекательность на многих лицах; блестящие глаза могли сиять ему, как звездный свет; удивительный цвет лица мог время от времени очаровать его, равно как и соблазнительная линия грациозной фигуры – все это не больше, как украдкой брошенный взгляд на бесконечное. Но когда эти неопределенные и мимолетные впечатления вдруг соединятся в одном фокусе, когда все его грезы о формах и красках принимают действительность в одном существе, которое смотрит на него, как небесная дева, гордая и чистая, то скорей будет к его чести, чем к стыду, если его чувства перепутаются при виде восхитительного видения, и он, несмотря на свою мужественность и грубую силу, сделается простым рабом страсти.

Таким образом я был подавлен и побежден, когда фиалковые глаза Сибиллы Эльтон медленно поднялись из тени темных густых ресниц и остановились на мне с тем неопределенным выражением соединения интереса и равнодушия, которое, как полагается, указывает на высшую благовоспитанность, на которое, чаще всего, стесняет и отталкивает откровенную и чувствительную душу.

Взгляд леди Сибиллы отталкивал, но, однако, мое очарование нисколько не уменьшилось.

Риманец и я вошли в ложу графа Эльтона между первым и вторым актом пьесы, и сам граф, невзрачный, плешивый, краснолицый старик с седыми бакенбардами, встал, чтобы встретить нас, и, схватив руку князя, потряс ее с особенным чувством. (Я узнал потом, что Лючио одолжил ему тысячу фунтов стерлингов на легких условиях – факт, отчасти объясняющий дружеский пыл его приветствия.) Его дочь не двинулась, но минуту или две спустя, когда он обратился к ней, сказав несколько резко: «Сибилла! Князь Риманец и его друг м-р Джеффри Темпест», – она повернула голову и удостоила нас холодным взглядом, который я старался описать, и едва заметно поклонилась. Ее поразительная красота сделала меня немым, и я ничего не мог сказать и стоял смущенный, очарованный и молчаливый. Старый граф сделал кое-какие замечания относительно пьесы, но я едва слышал их, хотя ответил неопределенно и наудачу. Оркестр играл ужасно, как это часто случается в театрах, и его бессовестный грохот звучал в моих ушах, как шум моря.



Сибил Элтон

Я, в сущности, ничего ясно не сознавал, кроме удивительной красоты девушки, одетой в белое платье, с несколькими бриллиантами, сверкавшими на ней, как капли росы на лепестках розы. Лючио разговаривал с ней, и я прислушивался.

– Наконец, леди Сибилла, – говорил он почтительно наклоняясь к ней, – наконец я имею счастье познакомиться с вами. Я часто видел вас, как видят звезду – издалека.

Она улыбнулась такой легкой и холодной улыбкой, которая едва приподняла уголки ее прелестного рта.

– Не думаю, чтоб я когда-нибудь видела вас, – заметила она, – а между тем я нахожу в вашем лице что-то странно знакомое. Мой отец постоянно говорит о вас, и мне излишне добавлять, что его друзья всегда будут моими.

Он поклонился.

– Поговорить с леди Сибиллой считается достаточным, чтобы осчастливить человека. Быть ее другом значит найти потерянный рай.

Она покраснела, потом вдруг побледнела и, вздрогнув, притянула к себе свое Sortie-de-bal «Накидка, надеваемая на вечернее платье (фр.).». Риманец заботливо окутал ее роскошные плечи благоухающими шелковыми складками мантильи. Как я позавидовал ему! Затем он повернулся ко мне и поставил стул как раз позади нее.

– Садитесь здесь, Джеффри! – сказал он. – Я хочу минутку поговорить о делах с лордом Эльтоном.

Мало-помалу мое самообладание ко мне вернулось, и я поспешил воспользоваться случаем, который он так великодушно мне предоставил, чтобы войти в милость молодой красавицы, и мое сердце забилось от радости, потому что она ободряюще мне улыбалась, когда я подошел.

– Вы большой друг князя Риманца? – спросила она ласково, когда я сел.

– Да, мы большие друзья; он чудесный товарищ.

– Могу себе представить!

И она бросила взгляд в его сторону. Он сидел рядом с ее отцом и о чем-то горячо говорил тихим голосом.

– Как он необыкновенно красив!

Я не отвечал. Безусловно, нельзя было отрицать особенной обаятельности в Лючио, но в тот момент меня скорее рассердила адресованная ему похвала. Ее замечание показалось мне бестактным, как если бы мужчина, сидя с хорошенькой женщиной, стал при ней громко восхищаться другою. Я не считал себя красавцем, но я знал, что выгляжу много лучше, чем большинство. Поэтому, почувствовав обиду, я молчал, и в это время занавес поднялся. Разыгрывалась весьма сомнительная сцена, в которой восхвалялась «женщина с прошлым». Мной овладело отвращение, и я посмотрел на своих компаньонов, в надежде заметить в них то же впечатление. На светлом лице леди Сибиллы не видно было знаков порицания; ее отец наклонился вперед, по-видимому с жадностью ловя каждую подробность. Риманец сохранял свое загадочное выражение, по которому трудно было определить, что он чувствовал. «Женщина с прошлым» продолжала выказывать свой истерично-притворный героизм, а сладкоречивый дурак-герой заявлял ей, что она – «обиженный чистый ангел», – и занавес упал среди громких аплодисментов. Кто-то один шикнул с галереи.

– Ангел прогрессирует, – сказал Риманец полунасмешливым тоном. – Прежде эта пьеса была бы освистана и изгнана со сцены, как нечто развращающее общество. Но теперь только протестует один голос из «низшего» класса.

– Вы демократ, князь? – спросила леди Сибилла, лениво обмахиваясь веером.

– Я? Нет! Я всегда отстаиваю гордость и первенство богатства. Я разумею не денежное, но умственное. И таким образом я предвижу новую аристократию. Когда высшее развращается, оно падает и делается низшим; когда низшее образовывает себя и стремится к честолюбию, оно делается высшим. Это закон природы.

– Но, Боже мой, – воскликнул лорд Эльтон, – ведь вы не назовете пьесу безнравственной? Это – реалистичное изучение современной общественной жизни: это – то, что есть. Эти женщины, знаете ли, эти бедняжки с прошлым – очень интересны!

– Очень! – промолвила тихо его дочь. – По-видимому, для женщины не с таким «прошлым» нет будущего! Добродетель и скромность отжили свой век.

Я нагнулся к ней и почти прошептал:

– Леди Сибилла, я очень рад, что эта негодная пьеса оскорбляет вас.

Она с удивлением повернула ко мне свои бездонные глаза.

– О, нет, – объявила она, – я видела подобных пьес так много. И я прочла так много романов на эту тему! Уверяю вас, что я вполне убеждена, что так называемая «дурная» женщина – единственный популярный тип среди нас, она берет от жизни всевозможные удовольствия; она часто делает прекрасную партию и вообще не теряет времени. Все равно, как положение наших преступников в тюрьме: они гораздо лучше едят, чем честные труженики. Я думаю, что для женщины большая ошибка – быть уважаемой: ее сочтут только скучной.

– А, теперь вы шутите! – И я снисходительно улыбнулся. – В глубине души вы думаете совсем другое.

Она ничего не ответила, и занавес опять поднялся, открывая непристойную «даму» на борту роскошной яхты.

Во время неестественного и напыщенного диалога я отодвинулся немного назад в глубь ложи, и все то самоуважение и уверенность, которых я неожиданно лишился при одном взгляде на красоту леди Сибиллы, вернулись ко мне, и великолепное хладнокровие взяло верх над лихорадочным возбуждением. Я вспомнил слова Лючио: «Леди Сибилла назначена в продажу», – и я с ликованием подумал о моих миллионах. Я взглянул на старого графа, который дергал свои седые бакенбарды, внимательно слушая, должно быть, денежные проекты, обсуждаемые Лючио. Мой взгляд оценщика опять вернулся на прелестные изгибы молочно-белой шеи леди Сибиллы, на ее прекрасные плечи и грудь, на ее чудесные темные волосы цвета спелого каштана, на нежное надменное лицо, на томные глаза и блестящий румянец, и я внутренне прошептал: «Вся эта красота покупная, и я куплю ее!» В этот самый момент она повернулась в мою сторону и сказала:

– Вы тот знаменитый м-р Темпест, не правда ли?

– Знаменитый? – повторил я с глубоким чувством наслаждения. – Почти что так, хотя моя книга еще не издана…

Она с удивлением подняла брови.

– Ваша книга? Я не знала, что вы написали книгу.

Мое польщенное тщеславие упало до нуля.

– О ней очень много публиковали, – начал я, но она со смехом прервала меня:

– О, я никогда не читаю публикаций: это слишком большой труд. Когда я спросила вас, не вы ли тот знаменитый м-р Темпест, я хотела сказать: не вы ли тот миллионер, о котором так много говорили в последнее время?

Я поклонился несколько холодно. Она пытливо посмотрела на меня из-за кружевного бордюра веера.

– Должно быть, восхитительно иметь столько денег! – сказала она. – И вы также молоды и красивы.

Оскорбленное самолюбие сменилось удовольствием, и я улыбнулся.

– Вы очень добры, леди Сибилла.

– Почему? – спросила она, смеясь прелестным тихим смехом. – Потому что я вам сказала правду? Вы молоды и красивы. Миллионеры, обыкновенно, такие страшные. Фортуна, наделяя их деньгами, часто лишает их ума и личной привлекательности. А теперь расскажите мне про вашу книгу!

Она, по-видимому, вдруг освободилась от своей прежней сдержанности, и в продолжение последнего акта мы уже свободно разговаривали шепотом, способствовавшим нашему сближению. Ее обращение со мной было полно грации и очаровательности, и она совершенно обворо-

жила меня. Представление окончилось, и мы вместе вышли из ложи, и, так как Лючио продолжал разговаривать с лордом Эльтоном, я имел удовольствие посадить леди Сибиллу в карету. Поместившись рядом с ней, граф из кареты несколько раз дружески пожал мне руку, когда Лючио и я рядом стояли у брума.

– Приходите обедать, приходите обедать! – повторял он возбужденно. – Приходите… позвольте, сегодня вторник… Приходите в четверг. Без церемоний! Моя жена разбита параличом, она не может принимать; она только изредка видит посторонних, когда в хорошем настроении; ее сестра заведует всем домом и принимает гостей, тетя Шарлотта. Ха, ха, ха! Если б моя жена умерла, я бы не очень испугался жениться на мисс Шарлотте Фитцрой. Ха, ха, ха! Приходите к нам обедать, мистер Темпест, – Лючио, приводите его, а? У нас живет молодая девушка, одна американка: доллары, акцент и все. И я думаю, она хочет выйти за меня, ха, ха, ха! И ждет, когда леди Эльтон переселится в лучший мир, ха, ха! Приходите посмотреть на маленькую американку, а? В четверг, не правда ли?

Прекрасные черты леди Сибиллы омрачились при намеке ее отца на «маленькую американку», но она ничего не сказала. Только ее взгляд, казалось, спрашивал наши намерения и уговаривал нас на согласие, и она, по-видимому, осталась довольна, когда мы оба приняли приглашение. Еще апоплексический смех графа, с парой рукопожатий, еще легкий грациозный поклон красавицы, когда мы сняли шляпы на прощанье, и карета уехала. Мы сели в наш экипаж, которому удалось, благодаря услужливости уличных мальчишек и полицейских, очутиться как раз перед театром. Когда мы отъехали, Лючио пытливо посмотрел на меня. В полумраке брума я мог различить стальной блеск его глаз.

– Хороша? – спросил он.

Я молчал.

– Вы не восторгаетесь ею? – продолжал он. – Я должен сознаться, она холодна, совершенно бесстрастная весталка, но снег часто покрывает вулканы. У нее правильные черты и натуральный свежий цвет лица.

Несмотря на мое намерение отмалчиваться, я не мог перенести этого бледного описания.

– Она – красавица, – вырвалось у меня. – Самый тупой глаз это заметит, и с ее стороны умно быть сдержанной и холодной: расточай она свои улыбки и чары, она бы свела с ума многих мужчин.

Я скорее почувствовал, чем увидел его сверкающий взгляд.

– Положительно, Джеффри, я замечаю, что, несмотря на февраль, на вас дует южный ветер, принося с собой аромат роз и померанцевых цветов. Мне кажется, леди Сибилла произвела на вас могучее впечатление.

– Вы хотите, чтоб так было?

– Я? Мой дорогой, я ничего не хочу, чего вы сами не хотите. Я всегда применяюсь к характеру моих друзей. Если вы спрашиваете мое мнение, я скажу, что жаль, если вас в самом деле, поразила молодая леди, так как тут нет преград к нападению. Любовная история всегда должна встречаться с препятствиями и затруднениями, действительными и вымышленными. Поменьше скромности, а побольше вольности и лжи: все это прибавляет приятности в любви на этой планете.

– Видите ли, Лючио, вы очень любите нападать на «эту» планету, как будто бы вы знали что-нибудь о других! – сказал я нетерпеливо. – Эта планета, как вы ее презрительно называете, единственная, с которой мы имеем дело.

Он бросил на меня такой пылающий и пронизывающий взгляд, что я смутился.

– Если так, – ответил он, – зачем же вы тогда не оставляете в покое другие планеты? Зачем же вы силитесь изучить их тайны и движения? Если люди, как вы говорите, не имеют дела с другими планетами, кроме этой, зачем же они спешат открыть тайну более сильных миров – тайну, которая случайно, в один прекрасный день, ужаснет их.

Торжественность его голоса и вдохновленное выражение его лица внушали мне почти благоговение. У меня не было готового ответа, и он продолжал:

– Не будем говорить, мой друг, о планетах и даже об этой булавочной головке среди них, известной как Земля. Вернемся к более интересному сюжету – к леди Сибилле. Как я уже вам сказал, здесь не будет препятствий к сватовству, и вы легко можете жениться на ней, если пожелаете. Джеффри Темпест, только как автор книги, не дерзнул бы добиваться руги графской дочери, но Джеффри Темпест – миллионер будет желанным женихом. Дела бедного графа Эльтона в плохом положении, и он почти разорен. Американка, что у него на пансионе…

– На пансионе! – воскликнул я. – Надеюсь, он не содержит пансион для девиц?

Лючио рассмеялся.

– Нет, нет! Просто граф и графиня Эльтон дают престиж своего дома и покровительство мисс Дайане Чесней, этой американке, за пустячную сумму в две тысячи гиней ежегодно; графиня передала свою обязанность представительства своей сестре мисс Шарлотте Фитцрой, но корона уже висит над головой мисс Чесней. У нее в доме свой собственный ряд комнат, и она выезжает куда угодно под крылышком мисс Фитцрой. Такой порядок не нравится леди Сибилле, и она нигде не показывается иначе, как с отцом. Она не хочет дружить с мисс Чесней и откровенно высказывает это.

– За это я еще больше восхищаюсь ею! – сказал я горячо. – В сущности, я удивляюсь, что лорд Эльтон согласился…

– Согласился на что? Согласился брать две тысячи гиней в год? Бог мой! Я знаю бесконечное число лордов и леди, которые немедленно совершат такой же акт соглашения. «Синяя» кровь стала жидкой и бледной, и только деньги могут сгустить ее… Дайана Чесней имеет миллионы долларов, и если леди Эльтон поторопится умереть, я не удивлюсь, если маленькая американка с триумфом займет вакантное место.

– Я не одобряю такие превратности судьбы, – сказал я полусердито.

– Джеффри, мой друг, вы, право, удивительно непоследовательный. Есть ли более явный пример «превратности судьбы», чем у вас самого? Шесть недель тому назад кто вы были? Просто бумагомаратель со взмахами крыльев гения в душе, но с неуверенностью, будут ли эти крылья достаточно сильны, чтобы поднять вас из мрачной колеи, в которой вы бились, задыхались и роптали на несчастную долю! Теперь как миллионер вы презрительно думаете о некоем графе, потому что он решился совершенно законно немного увеличить свои доходы, взяв на пансион американскую наследницу и введя ее в общество, куда бы она никогда не попала. И вы добиваетесь или, вероятно, хотите добиваться руки графской дочери, как если б вы были сами потомком королей.

– Мой отец был дворянин, – сказал я несколько надменно, – и потомок дворян. Мы никогда не были простолюдинами, и наша фамилия была одною из самых уважаемых в графстве.

Лючио улыбнулся.

– Я в этом нисколько не сомневаюсь. Но просто «дворянин» много ниже или выше графа. Смотря с какой стороны смотреть! Потому что, в сущности, это не имеет значения в наши дни. Мы пришли к периоду истории, когда род и класс ставятся ни во что, благодаря тупой глупости тех, кто имеет их. Таким образом, случается, что пивовары назначаются пэрами государства, и заурядные торговцы становятся представителями от графств в палате общин, а настоящие старые фамилии так бедны, что принуждены продавать свои имения и бриллианты покупщику, дающему самую высокую цену, которым является, чаще всего, какой-нибудь вульгарный «железнодорожный король» или представитель нового рода изделий. Вы же занимаете лучшее положение с тех пор, как получили наследство, и сверх того, вы даже не знаете, как были нажиты эти деньги.

– Верно! – ответил я в раздумье; затем, вдруг вспомнив, прибавил:

– Кстати, я никогда не говорил вам, что мой покойный родственник воображал, что он продал свою душу дьяволу, и что все это громадное состояние было материальным результатом.

Лючио разразился неистовым хохотом.

Наконец, успокоившись, он воскликнул с усмешкой:

– Что за идея! Я думаю, что у него не все дома! Вообразить нормального человека, верующего в дьявола. Тем более в наши передовые дни! Глупая человеческая фантазия никогда не кончится! Мы приехали!

IX

Мой издатель, м-р Моджесон, произнес:

– Я, м-р Темпест, думал об одной женщине.

– В самом деле, – протянул я равнодушно.

– Да, женщина, которая, несмотря на оскорбления и помехи, быстро делается заметной. Вы, несомненно, услышите о ней в обществе и литературных кружках.

И он бросил на меня беглый полувопросительный взгляд.

– Но она не богата, только знаменита. Во всяком случае, в настоящее время мы не имеем к ней никакого отношения, а потому вернемся к нашему делу. Единственный сомнительный пункт в успехе вашей книги – критика. Только через руки шести главных критиков проходят все английские книги и обозрения, а также лондонские газеты; вот их имена, – и протянул мне заметку, написанную карандашом, – и их адреса, насколько я могу поручиться за их достоверность, или адреса газет, для которых они чаще всего пишут. Во главе списка стоит Давид Мэквин, самый грозный из всех. Он пишет везде и обо всем; будучи шотландцем, он всюду сует свой нос. Если вы залучите Мэквина, вам незачем беспокоиться за других, так как, обыкновенно, он дает «тон» и, кроме того, он – один из «личных друзей» редактора «Девятнадцатого Столетия», и вы могли бы быть уверены найти там свое имя, что иначе было бы немыслимо. Ни один критик не может работать для этого журнала, если он не состоит одним из друзей редактора «Автор имеет письменное свидетельство от м-ра Нофлеса об этом факте. (Прим. Автора).». Вы должны поладить с Мэквином: в противном случае, он может срезать вас, только ради того, чтоб «показать себя».

– Ничего не значит, – сказал я, – легкая критика книги всегда способствует ее продаже.

– В некоторых случаях, да.

И Моджесон в замешательстве стал теребить свою жидкую бородку.

– Но в большинстве случаев нет. Там, где очень решительная и смелая оригинальность, враждебная критика всегда будет бессильна. Но работа, как ваша, требует поощрения и, одним словом, нуждается в «рекламе».

– Я вижу, что вы не считаете мою книгу достаточно оригинальной, чтоб удержаться одной?

Я чувствовал явное раздражение.

– Дорогой сэр! Вы право… право… Что мне сказать?

И он извиняясь улыбнулся.

– Вы, право, немного резки. Я считаю, что ваша книга показывает удивительное образование и изысканность мысли; если я нахожу в ней ошибку, то это, может быть, потому, что сам не понимаю тонкости. По моему мнению, единственно, чего в ней недостает, это, я назову, цепкости, за неимением другого выражения, – качество, держащее пригвожденным воображение читателя. Но в конце концов, это общий недостаток в современной литературе; мало авторов достаточно чувствуют сами для того, чтоб заставить других чувствовать.

С минуту я ничего не отвечал: я думал о точно таком же замечании Лючио.

– Хорошо! – наконец сказал я, – если у меня не было чувства, когда я писал книгу, то теперь уд безусловно у меня нет его. Но, увы, я перечувствовал ее каждую строчку! Мучительно и напряженно!

– Да, в самом деле! – сказал он нежно, – или, может быть, вы думали, что чувствовали: это другая, весьма любопытная фаза литературного темперамента. Видите ли, чтоб убедить других, нужно сперва самому быть убежденным. Обыкновенным результатом этого бывает особенная притягательная сила, возрастающая между публикой и автором. Положим, у меня плохие доводы: возможно, что в торопливом чтении я вынес ложное впечатление о ваших намерениях.

Как бы то ни было, но книга должна иметь успех. Все, что я решаюсь у вас просить, это лично попытаться поладить с Мэквином.

Я обещал сделать все, что возможно, и на этом соглашении мы расстались. Я сознавал, что Моджесон был более тонким, чем я воображал, и его замечания дали мне пищу для мыслей, не совсем приятных для меня, так как, если действительно в моей книге, как он сказал недостает «цепкости», то она не пустит корней в умах людей – она будет просто эфемерным сезонным успехом, одним из тех «модных» литературных продуктов, к которым я питал неумолимое презрение, – и слава будет так же далека, кроме плохой имитации ее, приобретенной благодаря миллионам.

В этот день я был в дурном расположении духа, и Лючио заметил это. Он скоро выведал у меня суть разговора с Моджесоном и рассмеялся над предложением «поладить» со страшным Мэквином. Он взглянул на пять имен других главных критиков – и пожал плечами.

– Моджесон совершенно прав, – сказал он, – Мэквин весьма интимен с остальными этими господами. Они встречаются в одних и тех же клубах, обедают в одних и тех же дешевых ресторанах и ухаживают за одними и теми же накрашенными балеринами. Все вместе они составляют маленький братский союз и оказывают друг другу услуги. Вам представляется случай. О да! Будь я на вашем месте, я бы поладил с Мэквином.

– Но как? – спросил я, так как, хотя я и знал Мэквина довольно хорошо по имени, встречая его подпись под литературными статьями почти во всех газетах, но я никогда его не видел. – Не могу же я просить милости у критика прессы!

– Безусловно нет! – И Лючио опять рассмеялся. – Если бы вы сделали подобную глупость, вы бы испортили все дело! Нет ни одного спорта, который бы критики так не любили, как помыкание автором, унизившимся до просьбы о милости перед теми, кто стоит ниже его в умственном отношении! Нет, нет, мой друг! – Мы поладим с Мэквином совсем иначе. Я знаком с ним.

– Какая приятная новость! – воскликнул я. – Честное слово, Лючио, вы, кажется, знакомы со всем миром.

– Я знаком с большинством людей, стоящих знакомства, – ответил спокойно Лючио, – хотя я отнюдь не причисляю м-ра Мэквина к этой категории. Мне случилось познакомиться с ним при особенных обстоятельствах. Это было в Швейцарии, на опасном выступе скалы, известном Mauvais Pas «Неверный шаг (фр.).». Несколько недель я провел в окрестностях по своим делам и, будучи бесстрашным и твердым на ногу, я часто предлагал свои услуги проводника. В этом звании любителя-проводника капризная судьба дала мне удовольствие провожать трусливого и желчного Мэквина через пропасти Ледяного Моря, и я разговаривал с ним все время на изысканном французском языке, о котором он, несмотря на свою хваленую ученость, имел жалкое представление. Я знал, кто он был, и, зная его коварство, давно смотрел на него, как на одного из легальных убийц честолюбивых гениев. Когда я привел его к Mauvais Pas, я заметил, что у него закружилась голова; держа его крепко за руку, я обратился к нему по-английски так: «Мистер Мэквин, вы написали возмутительную и достойную осуждения статью о работе такого-то поэта, – и я назвал фамилию, – статью, которая была целым сплетением лжи от начала до конца и которая своей жестокостью и ядом отравила жизнь человеку, подающему блестящие надежды, и подавила его благородный дух. Теперь, если вы не обещаете мне написать и напечатать в передовом журнале полное опровержение вашей статьи, когда вы вернетесь в Англию, – если вы вернетесь! – дав оскорбленному человеку „почетный отзыв“, которого он справедливо заслуживает, – вы полетите вниз! Мне стоит лишь выпустить вас из рук!» Джеффри, видели бы вы тогда Мэквина! Он стонал, он извивался, он цеплялся! Никогда оракул прессы не был в таком не оракульском положении. «Караул! Караул!» – пытался он крикнуть, но голос изменил ему. Над ним возвышались снежные вершины, подобно вершинам той славы, которой но не мог достигнуть, и потому завидовал другим; под ним зияла прозрачная бездна,

где ледяные волны переливали опалово-голубым и зеленым цветом, а где-то вдали звенели колокольчики коров и оглашали спокойный и безмолвный воздух, напоминая о зеленых пастбищах и счастливых жилищах. «Караул!» – прохрипел он. – «Нет, – сказал я, – это мне следовало бы крикнуть: „Караул!“ – так как, если когда-либо арестующая рука держала убийцу, то моя держит его теперь. Ваша система убивать хуже системы ночного разбойника, потому что разбойник убивает тело, вы же стараетесь убить душу. Вам не удается, но одна попытка уже гнусна. Ни крики ни борьба здесь не помогут вам: мы одни с вечной природой; отдайте запоздалую справедливость оклеветанному вами человеку, или, в противном случае, как я уже сказал, вы полетите вниз!» Хорошо, чтобы сократить мой рассказ, он уступил и поклялся сделать то, что я требовал. Тогда, обняв его рукой, как если бы он был моим дорогим братом, я благополучно свел его с Mauvais Pas, и когда мы очутились внизу горы, он или от испытанного страха, или от последствий головокружения упал на землю, горько плача. Поверите ли вы, что прежде, чем мы достигли Chamounix, мы сделались лучшими друзьями на свете! Он признался мне в своих гадких поступках и благодарил меня за данную ему возможность облегчить свою совесть; мы обменялись карточками, и, расставаясь, этот самый Мэквин, пугало авторов, расчувствовавшись после виски и грога (он – шотландец), поклялся, что я был самым великим человеком в мире, и что, если когда-нибудь представится случай оказать мне услугу, он ее окажет. «Вы не поэт сами?» – бормотал он, заваливаясь на постель. Я сказал, что нет. «Мне очень жаль!» – заявил он, и слезы от виски показались на его глазах. Если бы вы были поэт, я бы многое для вас сделал, я бы стал рекламировать вас даром!» Я оставил его храпеть и больше не видал. Но я думаю, что он узнает меня, я пойду к нему сам. Клянусь всеми богами, если бы он только знал, кто держал его между жизнью и смертью на Mauvais Pas.

Я смотрел в недоумении.

– Но он же знал. Ведь вы обменялись карточками.

– Так, но это было потом! (И Лючио засмеялся.) Могу вас уверить, мой друг, что мы «уладим» с Мэквином!

Я чрезвычайно заинтересовался рассказанной историей, тем более, что он обладал большим драматическим талантом говорить и с помощью жестов ясно воспроизводил всю сцену перед моими глазами, как картину; я невольно высказал свои мысли.

– Вы были бы, без сомнения, великолепным актером, Лючио!

– Как вы знаете, что я не актер? – спросил он с пылающим взором, затем быстро прибавил: «Нет, не стоит красить лицо и ломаться на подмостках, как нанятый шут, чтобы сделаться исторически известным! Лучший актер – тот, кто превосходно играет комедию в жизни, как я стремлюсь это делать. Ходить хорошо, говорить хорошо, улыбаться хорошо, плакать хорошо, стонать хорошо, смеяться хорошо и умереть хорошо! Все это чистейшая комедия, потому что в каждом человеке живет немой, страшный, бессмертный дух, который действителен, который не может притворяться, который есть и который выражает бесконечный, хотя безмолвный протест против лжи тела!»

Я ничего не сказал в ответ на этот взрыв, я начинал привыкать к его переменчивому настроению и странной манере излагать свои мысли. Они увеличивали таинственное влечение, какое я чувствовал к нему, и делали его характер вечной загадкой для меня, не лишенной утонченной прелести. По временам я сознавал с робким чувством самоунижения, что я был совершенно под его властью, что моя жизнь была всецело под его контролем и влиянием, и я старался убедить самого себя, что, несомненно, так хорошо, потому что он имеет гораздо более меня опытности и знания.

В этот вечер мы обедали вместе, что случалось довольно часто, и наш разговор вертелся исключительно на материальных и деловых вопросах. По совету Лючио, я сделал несколько крупных денежных операций, что и дало нам обширную тему для обсуждения.

Был ясный морозный вечер, приятный для прогулки, и около одиннадцати часов мы вышли; нашей целью был частный игорный клуб, куда мой товарищ захотел представить меня в качестве гостя. Дом, где помещался этот клуб, находился на таинственной маленькой задней улице, недалеко от границы Пэл-мэл, и снаружи имел довольно скромный вид, но внутри отличался роскошной, хотя безвкусной отделкой. Среди блестящих огней великолепной англо-японской гостиной нас встретила женщина с подведенными глазами и накрашенными волосами. Ее вид и манеры свидетельствовали, что она принадлежит к дамам полусвета самого распространенного типа, была одним из тех «чистых» созданий с «прошлым», изображаемых как мученицы человеческих пороков! Лючио что-то ей сказал, она бросила на меня выражающий уважение взгляд и улыбнулась, потом позвонила. Появился скромного и выдержанного вида лакей во фраке и, по едва заметному знаку своей хозяйки, поклонившейся мне, когда я проходил мимо, провел нас наверх. Мы шли по ковру из мягчайшего войлока, и я заметил, что в этом учреждении все усилия были приложены, чтобы все сделать бесшумным; самые двери, обитые толстой байкой, двигались на немых петлях. На верхней площадке слуга осторожно постучал в боковую дверь; ключ повернулся в замке, и мы вошли в длинную комнату, ярко освещенную электрическими лампами и наполненную людьми, играющими к красное и черное и баккара. Некоторые посмотрели на Лючио, когда он вошел, и кивнули с улыбкой, другие уставились с любопытством на меня, но, в общем, наше появление было мало замечено.

Лючио сел, чтобы следить за игрой; я последовал его примеру и сейчас же почувствовал себя зараженным тем чрезмерным возбуждением, царившим в комнате, которое походило на безмолвную напряженность воздуха перед грозой.

Я узнал лица многих хорошо известных общественных деятелей – людей, знаменитых в политике, которых бы никто не заподозрил, что они способны поддерживать игорный дом своим присутствием и авторитетом. Но я постарался не обнаружить ни одного знака удивления и спокойно наблюдал за игрой и игроками почти с таким же бесстрастием, как и мой товарищ. Я был приготовлен играть и проигрывать, но я не был приготовлен к странной сцене, вскоре разыгравшейся, в которой мне силой обстоятельств пришлось принять участие.

X

Как только игра, за которой мы следили, окончилась, игроки встали и приветствовали Лючио с большим рвением и излиянием своих чувств. Я инстинктивно угадал по их обращению, что они смотрели на него как на влиятельного члена клуба – на лицо, могущее дать им взаймы и всячески помочь им в финансовом отношении. Он представил меня всем им, и мне нетрудно было заметить, какой эффект произвело мое имя на большинство из них. Меня попросили присоединиться к игре в баккара, и я тотчас согласился. Ставки были разорительно высоки, но меня это ничуть не пугало. Один из игроков около меня был светловолосый молодой человек, красивый и аристократического рода. Его мне представили как виконта Линтона. Я обратил на него особенное внимание из-за его беспечной манеры удваивать свои ставки, по-видимому, только ради бравады, и когда он проигрывал, что случалось чаще всего, он шумно хохотал, как если б он был пьян или в бреду. Сначала я был совершенно равнодушен к результатам игры и ничуть не заботился, буду ли я в выигрыше или проигрыше. Лючио не присоединился к нам, но сидел поодаль, спокойно наблюдая и, как мне казалось, следя более за мной, чем за другими. По счастливой случайности, мне везло, и я постоянно выигрывал. И чем больше я выигрывал, тем больше я становился возбужденным, пока вдруг мое настроение не изменилось, и меня охватило причудливое желание проиграть. Я думаю, что это был толчок лучшего побуждения в моей натуре, заставляющий меня этого желать ради молодого виконта, так как он казался буквально обезумевшим от моих постоянных выигрышей и продолжал свою отчаянную игру. Его лицо вытянулось и похудело, и его глаза лихорадочно блестели. Другие игроки, хотя разделявшие его несчастную полосу, по-видимому, спокойнее это переносили, или, может быть, они искуснее скрывали свои чувства. Как бы то ни было, но я от души желал, чтобы мое дьявольское везение перешло на сторону молодого Линтона. Но мое желание было напрасно: опять и опять я забирал все куши, пока, наконец, игроки встали, и виконт Линтон с ними.

– Дочиста проигрался! – сказал он с насильственным громким смехом. – Вы должны завтра дать мне реванш, м-р Темпест!

Я поклонился.

– С удовольствием!

Он позвал человека и велел принести себе коньяку и содовой воды, а тем временем меня окружили остальные, горяча настаивая на необходимости вернуться мне на следующий вечер в клуб и дать им возможность отыграть то, что сегодня они потеряли. Я тотчас согласился, и в то время, когда мы были в разгаре разговора, Лючио вдруг обратился к молодому Линтону:

– Не хотите ли сыграть со мной? Я заложу банк вот этим. – И он положил на стол два скрученных банковых билета по пятьсот фунтов каждый.

Один момент все молчали.

Виконт жадно пил коньяк с содовой водой и взглянул на билеты через край высокого стакана алчными, налитыми кровью глазами, котом равнодушно пожал плечами.

– Я ничего не могу поставить, я уже сказал вам, что я дочиста проигрался, я не могу больше играть.

– Садитесь, садитесь, Линтон! – настаивал один господин, стоявший вблизи него. – Займите у меня и играйте.

– Благодарю, – возразил тот, слегка вспыхнув, – я и так уж слишком много вам должен. Во всяком случае, это очень хорошо с вашей стороны. Вы продолжайте, господа, а я посмотрю.

– Позвольте мне уговорить вас, виконт, – промолвил Лючио, глядя на него со своей загадочной улыбкой, – только для удовольствия! Если вы не можете поставить денег, поставьте

какой-нибудь пустяк, что-нибудь номинальное только для того, чтоб увидеть, повернется ли к вам счастие. – И он достал марку.

– Это часто изображает пятьдесят фунтов; пусть она изобразит на этот раз нечто более ценное, чем деньги, – вашу душу, например!

Раздался взрыв хохота.

Лючио смеялся вместе со всеми.

– Я надеюсь, что мы все настолько просвещены современными науками, что не признаем существования такой вещи, как душа, – продолжал он, – поэтому, предложив ее, как ставку, я, в сущности, предложил меньше, чем один волосок из вашей головы, потому что волосок есть нечто, а душа есть ничто! Хотите рискнуть этой несуществующей величиной на удачу выиграть тысячу фунтов?

Виконт выпил коньяк до последней капли и повернулся к нам. Его глаза горели насмешливо и вызывающе.

– Ладно! – воскликнул он.

Между тем компания уселась. Игра была коротка и в своей быстроте ажитации почти безжизненна. Достаточно было шести-семи минут, и Лючио встал победителем. Он улыбнулся, указывая на манку, изображающую последнюю ставку виконта Линтона.

– Я выиграл! – сказал он спокойно. – Но вы мне ничего не должны, дорогой виконт, так как вы рисковали «ничем»! Мы играли только для удовольствия. Если б душа существовала, я бы, конечно, потребовал вашу; между прочим, сомневаюсь, что бы я с ней делал!

И он засмеялся.

– Что за глупости, не правда ли! И как мы должны быть благодарны, что живем в передовые дни, когда подобные глупые суеверия дали место прогрессу и чистому разуму! Покойной ночи! Завтра Темпест и я дадим вам полный реванш, – безусловно, счастие переменится, и вы, наверное, одержите победу. Еще раз, покойной ночи!

Он протянул свою руку; трогательная нежность светилась в его темных глазах; в его манере была поразительная кротость. Что-то, я не мог определить – что, держало нас всех с минуту точно очарованными. Многие игроки на других столах услышали об эксцентричной ставке и теперь смотрели на нас издали с любопытством. Между тем виконт Линтон по наружному виду был чрезмерно весел и горячо пожал протянутую руку Лючио.

– Вы удивительно хороший человек, – сказал он, говоря немного часто и торопливо. – И уверяю вас серьезно, что, если бы у меня была душа, я бы с удовольствием отдал ее за тысячу фунтов в настоящий момент. Душа была бы для меня бесполезна, а тысяча фунтов мне бы очень пригодилась. Но я убежден, что выиграю завтра!

– И я в этом уверен, – ласково проговорил Лючио. – Тем временем вы не найдете моего друга, Джеффри Темпеста тяжелым кредитором – он может ждать. Но, что касается проигранной души, – здесь он остановился, пристально глядя в глаза молодого человека, – то, конечно, я не могу ждать!

Виконт неопределенно улыбнулся на эту шутку и почти немедленно вслед затем оставил клуб.

Как только дверь за ним закрылась, многие из игроков обменялись многозначительными взглядами и кивками.

– Разорен! – сказал один из них вполголоса.

– Его карточные долги превышают сумму, какую он в состоянии заплатить, – прибавил другой, – и я слышал, что он потерял пятьдесят тысяч на скачках.

Эти замечание были сделаны так равнодушно, как будто бы говорили о погоде. Каждый игрок был до мозга костей себялюбив, и пока я наблюдал их черствые лица, дрожь благородного негодования пробежала по мне, негодования смешанного со стыдом. Я не был еще совершенно притупленным и жестокосердным, хотя, оглядываясь на те дни, которые теперь мне

кажутся скорее похожими на странный призрак, чем на действительность, я сознаю, что с каждым прожитым часом я делался все более и более грубым эгоистом. Но я еще был так далек от явной подлости, что внутренне я решил написать виконту Линтону в тот же вечер, что я отказываюсь требовать его долг. Когда эта мысль пронеслась в моем мозгу, я невольно посмотрел на Лючио и встретил его пристальный испытующий взгляд. Он улыбнулся и тотчас сделал мне знак следовать за ним. Через несколько минут мы вышли из клуба и очутились на холодном ночном воздухе, под небом, где ледяной холодностью сверкали звезды. Мой товарищ положил свою руку мне на плечо.

– Темпест, если вы намерены быть добросердечным и сочувствовать негодяям, я разойдусь с вами! – сказал он со странным смешением иронии и серьезности в голосе. – Я вижу по выражению вашего лица, что вы замышляете какой-нибудь бескорыстный поступок чистого великодушия. Вы хотите освободить Линтона от его долга – вы напрасно беспокоитесь. Он родился негодяем и никогда не стремился сделаться чем-нибудь другим. Почему вы должны сочувствовать ему? С первых же дней по выходе из коллегиума до сей поры он ничего не делал, как только жил беспутной чувственной жизнью; он – недостойный развратник и заслуживает меньше уважения, чем честный пес!

– Все же, я полагаю, кто-нибудь любит его! – сказал я.

– Кто-нибудь любит его! – повторил Лючио с неподражаемым презрением. – Ба! Три балерины живут за его счет, если вы это хотели сказать. Его мать любила его, но она умерла: он разбил ее сердце. Он негодный, говорю вам; пусть он сполна заплатит свой долг, включая и душу, которую он так легко поставил на карту. Если б я был дьяволом и выиграл эту оригинальную душу, я думаю, что, согласно с традициями священников, я бы с ликованием разложил огонь для Линтона, но, будучи тем, что есть, я говорю: пусть человек сам готовит себе судьбу, пусть все идет своим течением, и как он рискнул всем, пусть всем и заплатит.

В это время мы медленно шли по Пэл-мэл; я только собирался ответить, как на противоположной стороне заметил человеческую фигуру, недалеко от Marlborough Club. Я не мог удержаться от невольного восклицания.

– Он там! Виконт Линтон там!

Рука Лючио крепко держала мою.

– Само собой разумеется, вы не будете с ним теперь разговаривать!

– Нет. Но мне бы хотелось знать, куда он направляется. Он идет не совсем твердо.

– Пьян, вероятно!

И лицо Лючио приняло то самое неумолимое выражение презрения, которое я часто видел и дивился ему. Мы на секунду остановились, следя за виконтом, который бесцельно бродил взад вперед перед клубом, пока, по-видимому, не пришел к внезапному решению и, остановившись, крикнул: «Кэб!»

Изящный экипаж на бесшумных колесах немедленно подкатил. Он прыгнул в него, дав приказание кучеру. Кэб быстро приближался по нашему направлению; едва он проехал мимо нас, как громкий пистолетный выстрел раздался среди тишины.

– Господи! – воскликнул я, пошатнувшись, – он застрелился!

Кэб остановился. Кучер спрыгнул с козел; клубные швейцары, лакеи, полицейские и множество народа, появившегося, Бог ведает – откуда, в один момент, уже толпились там. Я бросился вперед, чтобы присоединиться к быстро собравшейся толпе, но прежде, чем я мог это сделать, сильная рука Лючио обвилась вокруг меня, и он оттащил меня изо всей силы назад.

– Будьте хладнокровны, Джеффри! – сказал он, – вы хотите предать клуб и всех его членов? Обуздайте свои безумные порывы, мой друг: они приведут вас к бесконечным неприятностям. Если человек умер – он умер, и всему конец.

– Лючио, у вас нет сердца! – воскликнул я, с отчаянием отбиваясь, чтоб вырваться из его рук. – Как можете вы рассуждать в подобном случае! Подумайте! Я – причина всего этого

зла! Мое проклятое счастие в баккара было последним ударом в судьбе несчастного молодого человека. Я убежден в этом! Я никогда себе не прощу.

– Честное слово, Джеффри, ваша совесть слишком мягка! – сказал он, держа мою руку еще крепче и торопясь увести меня против моей воли. – Вы должны постараться укрепить ее, если хотите иметь успех в жизни. Вы думаете, что ваше «проклятое счастие» причинило смерть Линтону? Во-первых, называть счастие «проклятым» – противоречие в терминах; во-вторых, виконт не нуждался в этой последней игре в баккара для своего окончательного разорения. Вас не в чем винить. И ради клуба, если не ради чего другого, я не намерен впутывать ни вас, ни себя в историю самоубийства. Коронер всегда оповещает подобные случаи в двух словах: «Временное умопомешательство».

Я вздрогнул; моя душа болела от мысли, что в нескольких шагах от нас лежало окровавленное тело человека, с которым так недавно я еще разговаривал, и, несмотря на слова Лючио, я признавал себя его убийцей.

– «Временное умопомешательство», – повторил Лючио, как бы говоря сам с собой. – Угрызения совести, отчаяние, поруганная честь, разрушенная любовь, вместе с современной научной теорией о разумной ничтожности: жизнь – ничто, Бог – ничто, когда все это заставляет обезумевшую человеческую единицу сделать из себя также ничто; «временное умопомешательство» извиняет его погружение в бесконечность. Верно сказал Шекспир, что свет – сумасшедший!

Я ничего не отвечал. Я был охвачен своими собственными горестными ощущениями. Я шел почти бессознательно, и когда я взглянул на звезды, они прыгали и кружились перед моими глазами. Вдруг слабая надежда озарила меня.

– Может быть, – сказал я, – он, в сущности не убил себя? Это могла быть лишь попытка?

– Он считался первоклассным стрелком, – возразил Лючио спокойно. – Это было его единственное качество. У него не было принципов, но стрелял он метко. Я не могу себе представить, чтоб он не попал в цель.

– Это ужасно! Час тому назад жить… а теперь… говорю вам, Лючио, это ужасно!

– Что? Смерть? Она и наполовину не так ужасна, как жизнь, ложно прожитая, – ответил он с серьезностью, которая произвела на меня сильное впечатление, несмотря на мое душевное волнение и возбужденность. – Поверьте мне, что нравственная боль и стыд преднамеренно бесчестного существования много хуже мук изображаемого священниками ада. Пойдемте, пойдемте, Джеффри, вы принимаете слишком близко к сердцу эту историю, вас винить не в чем. Если Линтон «счастливо покончил» с собой, это – лучшее, что он мог сделать. Он был для всех бесполезен. Положительно с вашей стороны большая слабость придавать большое значение такому пустяку. Вы только в начале вашей карьеры.

– И надеюсь, что эта карьера не приведет меня более к подобным трагедиям, как сегодняшняя, – страстно проговорил я. – Если же это случится, это будет совершенно против моей воли!

Лючио пытливо посмотрел на меня.

– Ничего не может случиться против вашей воли. Мне кажется, что вы хотите меня обвинить в том, что я привел вас в клуб? Мой друг, вы бы не пошли туда, если б сами не хотели! Разве я вас тащил туда связанным? Вы взволнованы и нервны, пойдемте ко мне и выпейте стакан вина. Вам это придаст больше твердости.

Между тем мы дошли до отеля, и я беспрекословно пошел за ним, беспрекословно выпил то, что он мне дал и стоял со стаканом в руке, следя за ним с болезненном очарованием, пока он сбрасывал свое подбитое мехом пальто. Затем он остановился передо мной; его бедное прекрасное лицо было сурово, и темные глаза блестели, как холодная сталь.

– Та последняя ставка Линтона… вам, – сказал я, запинаясь, – его душа…

– В которую ни он, ни вы не верите! – заметил Лючио. – Вы, кажется, теперь дрожите от пустой сентиментальной идеи?

– Но вы, – начал я, – вы говорите, что верите в душу?

Я? Я сумасшедший! – И он горько засмеялся. – Разве вы до сих пор не нашли этого? Наука сделала мой ум больным, мой друг! Он привел меня к такому глубокому источнику горестных открытий, что не мудрено, если мои чувства иногда путаются, и в эти безумные моменты я верю в душу!

Я тяжело вздохнул.

– Я хочу пойти спать, я чувствую себя усталым и абсолютно несчастным!

– Увы, бедный миллионер! – сказал ласково Лючио. – Уверяю вас, мне жаль, что вечер закончился так злополучно.

– И мне также жаль! – повторил я уныло.

– Подумать! – продолжал он, мечтательно глядя на меня, – если б мои верования, мои безумные теории стоили б чего-нибудь, я бы мог потребовать единственную несомненно существующую частицу вашего покойного знакомого виконта Линтона. Но где и как свести с ним счеты? Будь я теперь сатаной…

Я принудил себя слабо улыбнуться.

– Вы бы торжествовали! – сказал я.

Он придвинулся ко мне и ласково положил свои руки на мои плечи.

– Нет, Джеффри, – и его властный голос зазвучал нежными нотами, – нет, друг мой! Будь я сатаной, я бы наверно горевал! Потому что каждая погибшая душа напомнила бы мне мое собственное падение, мое собственное отчаяние и составила бы новое препятствие между мной и небом! Помните – сам дьявол был некогда ангелом!

Его глаза улыбались, но я бы мог поклясться, что в них блестели слезы. Я крепко сжал его руку; я чувствовал, что, несмотря на его цинизм и наружную холодность, судьба молодого Линтона глубоко его тронула. От этого впечатления моя симпатия к нему приобрела новую силу, и я пошел спать более примиренный с собой и с обстоятельствами вообще. В продолжение нескольких минут, пока я раздевался, я даже был в состоянии размышлять о вечерней трагедии с меньшим сожалением и с большим спокойствием, так как, безусловно, терзаться над непреложным было бесполезно. И, в конце концов, какой интерес представляла для меня жизнь виконта? Никакого.

Я начал смеяться над своей слабостью и возбужденностью и, будучи страшно утомленным, повалился в постель и моментально уснул. К утру, может быть, часов в пять, я вдруг проснулся, точно от прикосновения невидимой руки. Я весь дрожал, обливаясь холодным потом. Обыкновенно темная комната освещалась странным светом, точно облаком белого дыма или огнем. Я поднялся, протирая себе глаза, – и один момент смотрел с ужасом вперед, сомневаясь в ясности своих чувств, так как совершенно явственно и отчетливо, на расстоянии шагов пяти от постели, я видел три стоящие фигуры, закутанные в темные одежды с выдвинутыми капюшонами. Они были так торжественно неподвижны, их черная драпировка так тяжело падала вокруг них, что не было возможности сказать, были ли они мужчины или женщины; но что парализовало меня изумлением и ужасом – это был странный окружавший их свет: прозрачное, блуждающее, холодное сияние освещало их, как лучи бледной зимней луны. Я пытался крикнуть, но мой язык отказался мне повиноваться, и мой голос застрял в горле.

Все трое оставались абсолютно неподвижными, и снова я протер глаза, дивясь, был ли это сон или галлюцинация. Дрожа всем телом, я протянул руку к звонку с намерением неистово звонить на помощь, как вдруг голос, тихий и звучащий невыразимой тоской, заставил меня в смятении откинуться назад, и моя рука бессильно упала.

– Горе!

Слово резким неприятным звуком потрясло воздух, и я почти лишился чувств от ужаса, так как теперь одна из фигур пошевельнулась, и ее лицо светилось из-под закутывавших его покрывал, – белое лицо, как самый белый мрамор, и с таким страшным выражением отчаяния, что моя кровь заледенела в жилах. Послышался глубокий вздох, более похожий на предсмертный стон, и опять слово: «Горе!» – нарушило тишину.

Обезумевший от страха и едва сознавая, что я делал, я соскочил с кровати, бешено кинулся к этим фантастическим замаскированным фигурам, решив схватить их и спросить, что значит эта глупая и неуместная шутка. Как неожиданно все трое подняли головы и повернули лица в мою сторону! Какие лица! Неописано страшные в своей бледной агонии. И шепот, более ужасный, чем пронзительный крик, проник в самые фибры моего сознания: «Горе!».

Бешеным прыжком я бросился на них; мои руки ударили пустое пространство. Между тем, там, так же явственно, они стояли, грозно смотря на меня, пока мои сжатые кулаки бессильно били их кажущиеся телесными образы! И затем я вдруг увидел их глаза – глаза, следящие за мной зорко, безжалостно, презрительно, – глаза, которые, как волшебные огни, медленно жгли мое тело и дух. Потрясенный, почти разъяренный от нервной напряженности, я предался отчаянию; я думал, что это ужасное видение предвещало смерть – наверно, пришел мой последний час! Затем я увидел, что губы одного их этих страшных лиц шевельнулись… Мною овладела какая-то сверхъестественная жажда жизни… Странным образом я знал или угадал ужас того, что будет сказано… И, собрав все свои оставшиеся силы, я крикнул:

– Нет! Нет! Не надо еще того вечного суда! Нет!

Борясь с пустым воздухом, я старался оттолкнуть эти неосязаемые образы, которые, возвышаясь надо мной, съедали мою душу пристальным взглядом своих гневных глаз, и с подавленным зовом на помощь я упал как бы в темную пропасть без чувств.

XI

Как протекли часы от этого страшного эпизода до утра – я не знаю. Я был мертв для всех впечатлений. Наконец я проснулся или, скорее, пришел в чувство, чтоб увидеть солнечный свет, весело лившийся сквозь полуоткрытые шторы, и найти себя на постели в покойном положении, как будто бы я никогда не покидал ее. Было ли то видение простой галлюцинацией, страшным кошмаром? Если так, то, без сомнения, это была самая отвратительная иллюзия, когда-либо посланная страной сна! Здесь не мог быть вопрос здоровья, так как я чувствовал себя лучше, чем когда-нибудь в жизни! Я лежал некоторое время неподвижно, размышляя о виденном и пристально смотря на ту часть комнаты, где, как мне тогда казалось, стояли три фигуры; но я уже так привык к холодному самоанализу, что к тому времени, когда мой лакей принес мне чашку кофе, я решил, что все случившееся было не больше, как фантазией, созревшей из моего собственного воображения, возбужденного историей самоубийства виконта Линтона.

О смерти молодого человека не оставалось никакого сомнения: краткое известие о ней было помещено в утренних газетах, хотя трагедия разыгралась так поздно ночью, и ни о каких подробностях не упоминалось; лишь в одной газете был намек на «денежные затруднения», но кроме этого и объявления, что тело перенесено в дом покойника в ожидании следствия, ничего не было сказано.

Я нашел Лючио в курительной комнате, и он первый мне указал на короткий параграф, озаглавленный «Самоубийство виконта».

– Я говорил вам, он отличный стрелок!

Я кивнул. Меня это как-то перестало интересовать. Волнения предыдущего вечера, по-видимому, истощили весь мой запас симпатии и сделали меня холодно-равнодушным. Погруженный в самого себя и свои собственные беспокойства, я чувствовал потребность высказаться и принялся подробно рассказывать о галлюцинациях, тревоживших меня в продолжение ночи. Лючио слушал, странно улыбаясь.

– Старое токайское, очевидно, было слишком сильно для вас! – сказал он, когда я кончил свой рассказ.

– Вы дали мне старого токайского? – спросил я смеясь, – тогда вся таинственность объясняется. Я был уже возбужден и не нуждался в возбуждающих средствах. Но какие шутки играет с нами воображение! Вы не имеете представления, насколько явственны были эти призраки, насколько живо было впечатление!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.